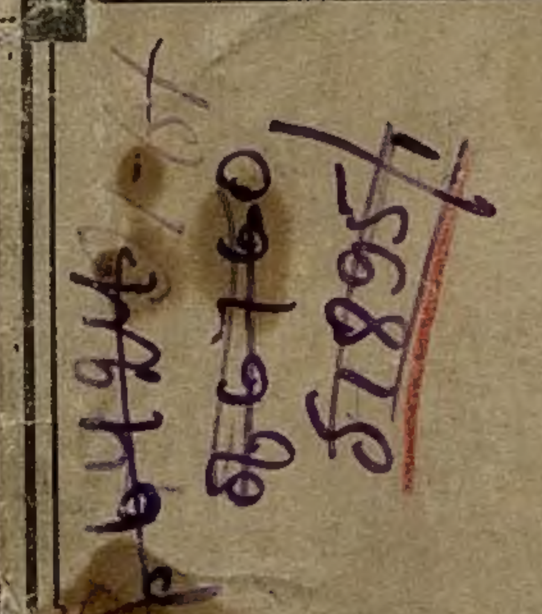
Книгоиздательство „СОТРУДНИЧЕСТВО“

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

Евгений Соловьев.

И. С. ТУРГЕНЕВ.



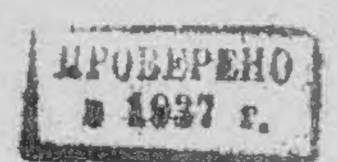
ПЕТРОГРАД.
1919.

нат-
схо-
сту-
енев
рле,
вич,

дам
вах.
тва,
пра-
сле-
ре-
бу-
для
дица
ред-
, кто
рыш.
аем,
руки
лась.
еною
ил с
ому,
мад-
ол и
свою
наем

Вар-
гими

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.





Евгений Соловьев.

И. С. ТУРГЕНЕВ.



ПЕТРОГРАД.
Книгоиздательство „Сотрудничество"
1919.

и знат-
происхо-
, посту-
Тургенев
в Орле,
олаевич,

а годам
льствах.
редства,
попра-
при сле-
Как ре-
ние бу-
й, для
нещица
и пред-
от, кто
грыш.
учаем,
и руки
ялась.
кеною
жил с
этому,
омад-
сол и
свою
наем

Вар-
властная женщина, многими

4-я Государственная типография.

I.

Детство, отрочество и юность.

Род Тургеневых принадлежит к стариннейшим и знатнейшим дворянским родам России. Он ведет свое происхождение еще из Золотой Орды, от какого-то Мирзы, поступившего на службу к московским князьям. Сам Тургенев родился 28-го октября 1818 года в дедовском доме, в Орле, где жили его отец, полковник гвардии, Сергей Николаевич, и мать, Варвара Петровна, урожденная Лутовинова.

Отец Тургенева, кавалерийский офицер, к 40-а годам жизни увидел себя в очень стесненных обстоятельствах. Карты, цыганки и шампанское истощили все его средства, и, по обычаю старого русского барства, он решился поправить свои дела выгодным браком. Это ему удалось при следующих, довольно романических обстоятельствах. Как ремонтер гусарского полка, он приехал однажды в имение будущей жены своей, Варвары Петровны Лутовиновой, для покупки лошадей на ее конском заводе. Молодая помещица приняла красивого офицера довольно любезно, при чем предложила ему сыграть в карты, но с условием, чтобы тот, кто выиграет, сам, по своему желанию, назначил себе выигрыш. Выиграл Сергей Николаевич и, воспользовавшись случаем, тут же, по-гусарски, без дальних околичностей просил руки своей партнерши. Та согласилась, и свадьба состоялась. Отец Тургенева вскоре вышел в отставку и вместе с женою поселился в ее громадном имении Спасском, где и зажил с причудливой, иногда безумной роскошью. Прибавив к этому, что Тургенев-отец был красивый и видный мужчина громадного роста, характера мягкого и переимчивого, хлебосол и страстный охотник, муж, хотя и не очень влюбленный в свою жену, но уважавший и даже побаивавшийся ее,—мы узнаем о нем все, что нам нужно.

Неизмеримо типичнее и интереснее мать Тургенева, Варвара Петровна, эта жестокая, властная женщина, многими

чертами своего характера напоминающая знаменитую Салтыкову. Вот ее наружность: „Некрасивая собою, небольшого роста, немного сутуловатая, она имела длинный и вместе с тем широкий нос, с глубокими порами в коже, отчего он казался как бы изрытым оспой. Глаза у ней были черные, злые, неприятные, лицо смуглое, волосы черные, как смоль; осанку она имела гордую, надменную, величавую, тяжелую; характер мстительный, властный, жестокий". Разумеется, всем в доме заправляла она, а не муж, все трепетало от ее взгляда, все преклонялось перед ее упрямой, непреклонной волей. Сколько людей подвергла она истязаниям, скольких сослала в Сибирь, отдала в солдаты—сосчитать это трудно, но сцены разнузданного барского произвола разыгрывались в Спасском ежедневно. Любопытен обиход, который мать Тургенева завела у себя в имении. Многочисленную дворовую челядь она распределила на классы и чины, как при дворе; дворецкий назывался министром двора и фамилию ему придали такую, какую носил тогдашний шеф жандармов — Бенкендорф; мальчик, заведывавший получением и отправкой писем, именовался „министром почт". Этикет соблюдался строгий. Сама гордая владетельная помещица редко показывалась на глаза; без ее разрешения никто не смел с нею заговорить—иначе виновному грозило жестокое наказание.

Несколько фактов прекрасно охарактеризуют нам жестокость матери Тургенева.

Был у В. П. крепостной мальчик Порфирий Кудряшов, которого она отправила вместе с сыном за границу в качестве „казачка". Заметив редкие способности последнего, Тургенев много работал над его развитием. Овладев немецким языком и подготовившись к экзамену, Кудряшов поступил студентом медицинского факультета в один из германских университетов. Тургенев, зная властолюбие своей матери, у которой он напрасно и долго просил для Кудряшова вольную, убеждал его не возвращаться в Россию. Кудряшов повидимому поддался советам своего молодого друга и дал слово остаться „у немцев". Но каково же было удивление Тургенева, когда, простившись с Кудряшовым, он увидел его в конторе дилижансов с узелком и походной сумкой через плечо. „Ты это куда, Порфирий?" „В Россию еду". „Как! Да ведь у тебя тут невеста"!—„Христос с нею с невестой!.. Родина милее". Кудряшов вернулся в Спасское

где барыня немедленно обратила его в безотлучного домашнего врача при своей особе. Перейдя на положение дворового, Кудряшов запил горькую... Так же поступила В. П. с другим талантливым крепостным. Она научила его живописи и затем заставила с утра до вечера рисовать для себя все те же и те же цветы. Бедняга спился.

Вот что ежедневно и ежеминутно видел около себя Тургенев в годы детства и юности. Обстановка была не такова, чтобы в ней могла развиться сила характера, тем более, что Тургенев получил повидимому от отца свою мягкую и доброжелательную, лишенную энергии натуру; но виденного и слышанного в Спасском было вполне достаточно для воспитания в сердце ненависти и отвращения к крепостничеству.

В таком же почти отдалении от своей особы, как и дворню, и в такой же строгой дисциплине держала В. П. и трех своих сыновей: Николая, Ивана и Сергея. И для них она была прежде всего грозным судьей, безжалостно наказывая за всякую провинность. Тургенев впоследствии сам вспоминал, что драли его жестоко за всякие пустяки и чуть не каждый день.

— Да, в ежовых рукавицах держали меня в детстве— говаривал он часто,—и матери моей я боялся, как огня.

Воспитание детей лежало главным образом на гувернерах, французах и немцах, которые выписывались прямо из-за границы в Спасское. Мало образованные, забитые, жалкие, сразу по приезде поступавшие в разряд дворни,— они, разумеется, не могли оказывать особенного влияния на детей, и плюс их деятельности сводится лишь к обучению иностранным языкам. Тургенев любил вспоминать своих гувернеров и рассказывал про них не мало анекдотов.

„Живо помню,—говорил он напр.,—как один чудак-немец приехал к нам с клеткою, в которой сидела самая простая, обыкновенная, даже неученая ворона. Вся многочисленная дворня наша сбежалась посмотреть на диковинного немца, который возился над своей вороной; дворня недоумевала, для чего ее немец притащил, когда этого добра было не занимать-стать у нас на дворе.

„Старик-дворовый, глядя на его суетню, флегматично заметил: „ах ты, фуфлыга“, обращаясь, конечно, к немцу. Немец обиделся, задумался и на другой день за завтраком

или обедом неожиданно обратился к отцу и, весьма плохо об'ясняясь по-русски, заявил ему, что он имеет спросить его по одному предмету.

— Позвольте у вас узнать, что значит слово „фуфлыга"? Меня вчера назвал ваш человек этим словом.—Отец, взглянув на тут же бывшего дворового и на меня с братом, догадался в чем дело, улыбнулся и сказал:

— Это значит живой и любезный господин.

Видимо немец не очень-то поверил этому об'яснению. „А если бы вам сказали,—продолжал он, обращаясь к отцу моему,—„ах, какой вы фуфлыга!—вы бы не обиделись?"

— Напротив, я принял бы это за комплимент.

„Немец этот был чрезвычайно чувствителен. Начнет читать ученикам что-нибудь из Шиллера и всегда с первых же слов расплачется. Впрочем, жил он у нас не долго. Скоро узнали, что он не более, как седельник, никакой педагогической подготовки до приезда к нам не имел,—и его уволили".

В этом странном воспитании на русскую грамоту—а о литературе нечего уже и говорить—почти не обращали внимания. Читать и писать Тургенев научился неизвестно когда и даже неизвестно каким образом, по всей вероятности от дворни. Одинаково один из дворовых ознакомил его и с родной литературой. Дело ознакомления происходило следующим образом, по рассказу самого Тургенева:

„Невозможно передать чувства, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, Пунин внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным, кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда необ'яснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина—в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь. Раздаются наконец первые звуки чтения... Все вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится жалким, заволакивается дымкой,

оставляя за собой одно [illegible] любого и [illegible] … [illegible] придерживаться [illegible], своих [illegible] свою он готов [illegible] [illegible] красиво их [illegible], как [illegible], как [illegible], как [illegible] за ним водилось [illegible] [illegible], в [illegible], как бы [illegible]. [illegible] на-черно, [illegible] вдруг [illegible] [illegible]. [illegible] Ломоносова [illegible] стихи, [illegible] даже „[illegible]“ [illegible] „Россиада“ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ломоносова [illegible] что он [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] или, как [illegible] бабушка, [illegible] гался сам [illegible], [illegible] в котором находилась [illegible]:

Вот [illegible] [illegible]
И зубцами [illegible]…

„Пушин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцания"...

Иван Сергеевич с самого начала пользовался особенным расположением матери. Впрочем Варвара Петровна не такая была женщина, чтобы выказывать кому бы то ни было и перед кем бы то ни было свои нежные чувства. Ей казалось, что всякое проявление чувства должно было уменьшить ее власть, обаянием которой она упивалась до сладострастия и пользовалась ею с своего рода мстительным оттенком, что легко об'ясняется унижениями, вынесенными ею в молодости. Будущего писателя пороли не меньше братьев, и особенная любовь матери к сыну проявилась лишь впоследствии.

За время своего детства Тургеневу пришлось вместе с своими родителями об'ехать Западную Европу, но эта поездка не оставила в нем никаких воспоминаний.

После заграничного путешествия, торжественного, роскошного, совершавшегося целым поездом в многочисленных экипажах, с десятками слуг,—Тургеневы вернулись в Россию и опять поселились в Спасском, окруженные изобилием своего богатого дворянского гнезда. Жили весело, шумно разнообразно. Гости не выезжали со двора, прекрасные лошади, своры собак, вереница покорных слуг, полная возможность предаваться легкомысленному ребяческому разврату, истощившему целые поколения старого барства - праздная беспечная жизнь, создававшая в таком изобилии излюбленных Тургеневских героев—лишних людей—все это было к услугам каждого, и каждый жадно пользовался хмельным напитком грубых чувственных наслаждений. А что там, на конюшне, шли дикие истязания за неподогретую рюмку вина, за пережаренного цыпленка, за хмурый взгляд—что возле пруда плакал бедняга Герасим над своей собаченкой, что из села то и дело выезжали телеги с рекрутами или предназначенными на поселения, что в избах выли бабы, чьи дочери распродавались в одиночку для известных целей,—кому какое дело было до всего этого? И особенно замечательно, что в душе таких гордых, властных помещиков, как В. П. царило совершенно олимпийское спокойствие. Ни тени даже минутного, не скажу уже раскаяния, а просто сомнения в своей правоте, хотя малейшей стыдливости. Сомнение, стыдливость, муки раскаяния появились

позже и, накоплявшиеся поколениями, невообразимой тяжестью обрушились на менее крепкие нервы потомков и истерзали их. Лишние люди: Гамлеты Щигровского уезда, Рудины, Лаврецкие, Неждановы, Вершинины — все эти погибшие неудачники представляют собою страшную расплату, потребованную природой за грехи Тургеневых, Лутовиновых, Салтыковых. История справедлива только не в нашем человеческом смысле, ибо для нее не существует личности, но нет греха и неправды, которые рано или поздно не были бы отомщены сторицею. Думали ли феодальные бароны, обиравшие и истязавшие своих крепостных, что кровь их титулованных потомков дымящейся лужей будет стоять, не просыхая, на Гревской площади, вызывая крики кровожадного восторга? думали ли помещики, издевавшиеся над своими крестьянами, что их любимые, балованные сыновья заплатят за это издевательство грозными муками совести, стыда, раскаяния, бедствия и даже своею нравственной гибелью? Не думали — и если это оправдание, оправдаем и их!..

Но несомненно, что в воспитании, полученном Тургеневым в Спасском, были и свои хорошие стороны. Прежде всего заметим, что, благодаря безалаберности, царившей в этом переполненном праздным, посторонним народом доме, безалаберности необходимой и неизбежной, несмотря на министров двора, министров почт—он пользовался завидной свободой. Он то и дело оставался один и, пользуясь минутами одиночества, любил забираться в глубь роскошного Спасского сада.

Симпатичные люди из дворни, вроде Пунина, внушали ему любовь к простому народу, а сцены помещичьего произвола давали материал для будущей сознательной ненависти к рабству и будущей аннибаловской клятвы!..

В 1830 году Тургенева отправили в Москву и отдали в частный пансион Вейденгаммера, так как вообще дворяне того времени старались избегать гимназий, где их дети могли встретиться с разночинцами. Но у Вейденгаммера Тургенев оставался не долго и вскоре перешел опять-таки в пансион директора армянского-лазаревского института Краузе. Учителя здесь были порядочные, с особенной же любовью Тургенев вспоминал всегда о некоем Дубенском, преподавателе русской словесности. Дубенский был честный, преданный своему делу педагог старого закала, educa-

[illegible] ознакомивший детей с литературой, воспитывая их на сочинениях Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Пушкина Дубенский недолюбливал за его вольности и даже с негодованием относился к нему, находя, как и Пунин, что он воспевает вещи низкие и недостойные лирного бряцания. Вообще литературное образование Тургенева в пансионе у Краузе значительно подвинулось вперед; здесь же, между прочим, он изучил и английский язык, что вместе с знанием французского и немецкого составляло уже порядочный умственный капитал для того времени. Иностранные языки, кстати заметить, давались Тургеневу очень легко, и владел он ими в совершенстве. Одно время даже сильно были распространены слухи, что многие свои произведения он писал предварительно по-французски или немецки, а потом [illegible] на русский. Слухи эти Тургенев опроверг [illegible].

Из пансиона Краузе Тургенев, в 1834 г. поступил на [illegible] факультет Московского университета, где однако [illegible], и в следующем году перешел в Петроград[illegible] университет, опять словесником. За время пребывания Тургенева в Москве студентом умер его отец, истощенный [illegible] мучительной болезнью — результатом барских [illegible]. Неизвестно, что собственно заставило Тургенева [illegible] в Петроград, так как мать его поселилась после смерти [illegible] в Москве. Всего вероятнее, что юного студента привлекала [illegible], которой он пользовался, живя вне семьи.

[illegible] Петроградского университета в научном отношении было в то время далеко не блестящее. Кроме ректора П. А. Плетнева, литератора, друга и соредактора Пушкина по „Современнику", ни один из профессоров не пользовался [illegible]. Лекции обыкновенно читались по русскому, а [illegible] немецкому учебнику, предварительно рассмотренному начальством и тщательно процензированному. [illegible] составлялись жиденькие конспекты, зубрением [illegible] занимались студенты перед экзаменами. Наука [illegible] как среди учащих, так и учащихся. [illegible], в большинстве случаев обеспеченные барчуки, [illegible] рассеянную, полную нездоровых удовольствий, [illegible] карт и т. п.

Плетнев, читавший словесность, несмотря на отсутствие [illegible] сведений, имел однако влияние на молодежь, так [illegible] свой предмет.

„Он обладал, — рассказывает Тургенев в своих воспоминаниях, — несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен — умел заинтересовать их... Притом его, — как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего „Онегина", — окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свет забавить», и т. д. И действительно, Петр Александрович походил на портрет, набросанный поэтом; это не был обычный комплимент, которыми так часто украшаются посвящения. Кто знал Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и красоты.

он принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей; был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему — мудрый".

Философию читал Фишер, известный тем, что [illegible] вал Руссо иначе как [illegible] и что, по поручению начальства, составил [illegible] учебник естественного права. По мнению того же Фишера, «Монтескье впускал по капле незаметный яд в умы [illegible] численных читателей, усиливая в них [illegible] нововведений». Во всех произведениях «знаменитого [illegible] ского гражданина» Фишер нашел только [illegible] ные слова, а именно: „правление столь совершенное (демократия) не годится для людей". Читатель видит, что Фишер твердо держался курса николаевской эпохи и не столько думал о науке, сколько о дезинфекции юных умов [illegible] творного и суетного желания нововведений. На кафедре истории Тургенев застал Куторгу, в то время [illegible] только-что вернувшегося из Германии, ученого, [illegible] поклонника критической школы Нибура, Ш[illegible] шего бледно и тускло, — Устрялова, приводившего в [illegible] лекциях факты преимущественно патриотического [illegible] гера, — и одно время Гоголя, вообразившего [illegible] человеком науки. Преподавание Гоголя, — пишет Тургенев

правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены, что он ничего не смыслит в истории... Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году (1835 г.) подал в отставку". Из лекций своих профессоров-классиков Тургенев вынес настолько мало, что впоследствии в Берлине ему пришлось начинать с грамматики.

Ничего яркого, интересного нет в университетских впечатлениях Тургенева, стоит остановиться лишь на его отношениях к Плетневу. Со студентами, надо заметить, Плетнев держал себя просто, по-отечески, так что они доверяли ему даже свои первые литературные опыты. Это же сделал и Тургенев: „Я — рассказывает он — представил на рассмотрение Плетневу один из первых плодов моей музы, — как говаривалось в старину, — фантастическую драму в пятистопных ямбах „Отец". В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал с обычным своим добродушием это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня; впрочем, однако заметил, что во мне *что-то* есть. Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике». Тургенев бывал даже на литературных вечерах у Плетнева и встречал здесь писателей, впрочем второстепенных, за исключением Кольцова. Мимоходом он видел и Пушкина, и вот строки, где он говорит о тогдашнем своем отношении к великому поэту: «Пушкин был в эту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему» — и это свое поклонение Тургенев, как известно, сохранил на всю жизнь.

Литературные знакомства Тургенева за время его студенчества были случайны и мимолетны: несколько задушевных разговоров с Плетневым, несколько фраз, обмененных с Кольцовым, несколько восторженных взглядов на „полу

бога“ Пушкина—этим исчерпываются литературные впечатления будущего писателя. Ближе, чем с писателями, сходился он со светскими людьми, в чьи гостиные он имел свободный доступ, как богатый и родовитый юноша. Но влечение к литературе он несомненно чувствовал уже и в настоящее время, сам пробовал свои силы в стихах и старательно изучал в подлиннике лучшие произведения иностранных авторов—Байрона, Шекспира и Сервантеса по преимуществу. Каждое лето он проводил у матери в Спасском, обновляя свои „крепостнические“ впечатления, много читал, охотился, забираясь иногда в лес на целые дни с ружьем за плечами.

На его месте можно было быть счастливым, если бы не какая-то духота, которая проникала собою атмосферу той эпохи. Эту духоту ощущали все молодые даровитые люди тридцатых годов, оттого-то так и рвались тогда за границу, хотя получение паспорта было целой историей и стоило больших денег (500 р. с.). Но хотелось видеть другую, здоровую жизнь, а главное, не хотелось видеть этой окружающей суровой жизни. На самом деле, не веселая картина открывалась тогда наблюдателю: „на улице тебе попадалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал и даже не начальник, а так просто генерал оборвет или, что еще хуже, поощрит тебя... Носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на 300-энный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем, так называемым, ученым литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни!..“ Да, душно было в обществе, где все боялись друг друга и сидели по разным углам напуганные; душно в стенах университета за лекциями, преисполненными страха иудейского, душно в имении, где царило крепостничество. Поневоле люди рвались за границу, где еще недавно раздавались гордые песни Байрона, где только-что была создана грандиозная философская система Гегеля, властно подчинившая себе умы, где с кафедры и трибуны раздавались высокие, а подчас и великие слова. Прибавьте к этому любознательность молодости, сознание недостатков собственного образования, и вы увидите, почему Тургенев так рвался за гра-

пицу, куда и отправился, как только закончил курс в университете, что случилось в 1838 г.

В заключение этой главы скажу несколько слов о литературе 30-ых годов. Характеризуя ее, Тургенев пишет:

„Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год) у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не равновременное, — убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы... Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток внешности, соответствующей той великой, но чисто-внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти являлись и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральных подмостках (Марлинский, Кукольник, Загоскин, Бенедиктов, Брюлов, Каратыгин и друг.). „Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго... Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России во что бы то ни стало, — в самой сущности не имели ничего русского, это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины“.

Эта барабанная поэзия, напоминавшая несколько те времена, когда Херасков пел „Россию свобожденну, попранну власть татар и гордость низложенну“, а Державин — Фелицу, встретила однако серьезный и даже могучий отпор в самой литературе. Просто удивительно, откуда в то время брались силы, как успевали они проявляться, а между тем этих сил на сцене было больше, чем когда. В 30-х годах во главе литературы стояли: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Жуковский, Вяземский; как критик, в 34 г. начал свою деятельность Белинский; среди молодого поколения уже были, хотя и в эмбриональном еще состоянии: Тургенев, Некрасов, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский. Разумеется, с такими гигантами не под стать было справиться барабанной поэзии, и ее ложные боги, вроде Бенедиктова и Языкова, Бестужева-Марлинского, стали и быстро падать один

за другим, каждая статья Белинского вычеркивала кого нибудь из списка кумиров и усаживала его на жердочку подчас очень скромную. Чем дальше, тем больше. Около сороковых годов жизнь из-под туго придавленных клапанов стала прорываться сильнее. Во всей России произошла едва уловимая перемена, — та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и пониманья, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись. Где-то внутри, в нравственно микроскопическом мире, повеял иной воздух, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было спокойно, но что-то пробудилось в сознании, в совести — какое то чувство неловкости, неудовольствия...

Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандной, во главе ее становится в полном разгаре молодых сил Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции — в проповеди о человечнии, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается больше и больше...

Вдруг еще взрыв смеха. Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, словом — смеха Гоголя. Нелепый, уродливый, узкий мир „Мертвых Душ" не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильней... все одна проповедь — и смех, и плач, и книга, и речь, и Гоголь, и история — все звало людей к сознанию своего положения; к ужасу перед крепостным правом все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума.

Особенно тормошил Белинский, тормошил и старых, и молодых, особенно, разумеется, последних. Юные баричи, вырвавшиеся из своих дворянских гнезд, сначала возмущались им, а потом читали и зачитывались. Сам Тургенев на себе вынес это.

„Я — пишет он — не хуже других упивался стихами Бенедиктова, знал много наизусть, восторгался „Утесом": „Горами" и даже „Матильдой" на жеребце, гордившейся „усестом красивым и плотным". Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № „Телескопа" с статьей Белинского, в которой этот „критикан" осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно

отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но странное дело! и во время чтения, и после к собственному своему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с „критиканом“, находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого уж точно неожиданного впечатления; я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье.., но в глубине души что-то продолжало шептать и мне, что *он был прав*... Прошло несколько времени и я уже не читал Бенедиктова. Кому же неизвестно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, — мнения, казавшиеся дерзкой новизной, стали всеми принятым общим местом“.

Итак перед нами два направления — „ложно-величавое“ и „критическое“. В первом лагере находились дарования средней руки, во втором — истинные гении, как Гоголь и Лермонтов, и такая прекрасная, детски чистая душа, как Белинский. На чью сторону встать? Этот вопрос не мог не задать себе юноша, решившийся выступить на литературное поприще в ту эпоху. Воспевать ли *россов*, или указывать *русским* людям их косность, невежество, жестокость; защищать ли ликующий шовинизм, или опровергать знаменитую формулу: „все благополучно, и града в вверенном мне уезде, согласно приказанию Вашества, не было“...

Мы увидим скоро мотивы, заставившие Тургенева примкнуть к „критикам“.

II.

За границей.—Сороковые годы.—Тургенев и Белинский.

Я говорил уже о причинах, заставлявших Тургенева рваться за-границу. Однако осуществить страстное намерение было не легко. Недостатка в средствах не ощущалось, но В. П. Тургенева как раз к этому времени переселилась в Петроград и не имела ни малейшего желания отпускать от себя, да еще в такую даль, своего любимого сына, тем более, что со старшим, Николаем, она только-что рассорилась из-за его женитьбы. Но все-же Тургеневу удалось добиться

согласия матери на поездку, и после долгих сборов в наз-
наченный день он сел на пароход „Николай I-ый“, отпра-
вляющийся в Любек. Нечего и говорить о его радости. 20-ти
лет от роду, молодой, здоровый, богатый, ничем не связан-
ный в жизни, он ехал в столицу европейской мысли, — ту-
да, где била ключем „чистейшая эссенция философии“, сло-
вом — в Берлин. По дороге Тургенев едва не погиб, так
как пароход сгорел на море и пассажиры с трудом выса-
дились на берег, в шлюпках. Этот эпизод послужил темой
для прелестного рассказа Тургенева „Пожар на море“, на-
писанного им за месяц до смерти, в 1883 г., — и для кое-ка-
ких литературных сплетен, изображающих Тургенева в ко-
мическом виде. Но на этих сплетнях, по их незначительно-
сти, останавливаться мы не будем.

В Берлине Тургенев в два приезда пробыл около двух
лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции,
особенно близко сошелся он с Грановским и Станкевичем,
которые, как всякий это знает, оба были горячими запад-
никами, а несколько позже с М. Бакуниным, ярым геге-
льянцем и даже пророком гегелизма в России. Сам он за-
нимался философией, древними языками, историей и с осо-
бенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора
Вердера. Под влиянием впечатлений заграничной жизни
он стал ярым западником. Западничеству — заметим это
кстати — суждено было сыграть в его жизни существенней-
шую роль. За западничество он подвергался бесчислен-
ным нападкам, выносил даже ненависть; за западничество
его же возносили похвалами; сам он видит в западничестве
красную нить своей умственной жизни; во имя его он соз-
дал своего Потугина, он вдохновлялся им, сочиняя резкие
тирады против добродетелей и дарований, якобы исключи-
тельно присвоенных русскому народу.

В Берлине Тургеневу жилось весело и хорошо. Изве-
стно, что никогда, ни раньше, ни позже, русская интелли-
гентная молодежь не занималась так много разговорами и
словопрениями, как в период тридцатых и сороковых годов.
Возле разговоров сосредоточивалась зачастую весь смысл
и интересы бытия. Затрогивались и решались tant bien, que
mal огромнейшие и отвлеченнейшие вопросы о Боге, бес-
смертии души, особенностях народов, назначении человека,
правах и обязанностях личности. Все даровитые люди отли-
чались поразительною словоохотливостью и пристрастием к

спорам. Споры продолжались целыми днями и ночами, а иногда и сутками — без перерыва! — тянулись же неделями и месяцами. Много тут было, разумеется, комического, ненужного, напоминавшего лепет ребенка, только-что научившегося говорить и лепечущего без устали обо всем: — много и важного, интересного, так как во время прений слагались убеждения, которым люди оставались верными порою в течение всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тем более, что все вело к разговорам. Мерзость настоящего, неопределенность будущего, отсутствие какого бы то ни было жизненного дела, полная материальная обеспеченность лучших интеллигентов того времени (за исключением Белинского), изобилие шампанского, без которого не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы, хотя бы только у себя в дружеском кружке, самая легкость разговора, основывавшегося не на фактах, а на принципах и аксиомах гегелевской философии — все это вдохновляло, горячило, делало слово, спор сущностью жизни, ее прелестью и красотой. Нет, мы даже не умеем говорить так искренно, с таким увлечением, как наши деды, нам совестно было бы говорить так много, с таким азартом как 50 лет тому назад. Но перенеситесь в ту эпоху, и вы увидите, что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы хотя на минуту отвести душу. Вот Бакунин развалился на диване и занял его весь своей огромной фигурой; он гремит своим раскатистым голосом, наизусть цитирует целые страницы из Гегеля, не задумываясь, решает великие и малые вопросы: что-то богатырское есть в его фигуре, голосе, жестах;—где-нибудь у окна присел тихий, прекрасный Станкевич, с доброй улыбкой на больном лице, с восторженными глазами; он ждет минуты, чтобы вставить свое задушевное слово;—вот и сам Тургенев, тоже гигант ростом и умом, но тогда еще ученик, покорно выслушивающий поучения старших;—Грановский с своим задумчивым, неопределенно устремленным взглядом, своей изящной речью, своим серебристым подкупающим голосом. Пройдет немного лет, и за теми же разговорами мы застанем новых лиц, хотя и не увидим уже прекрасного лица Станкевича и не услышим больше его задушевного голоса. Сверкая глазами и бегая из угла в угол по комнате, будет волноваться Белинский и нападать с комической яростью на баричей, в роде Тургенева, за их безделье, за привязанность к чистой красоте и

размахивая руками кричать своим тонким голоском, волнуясь и спеша. Небольшая, вся созданная из мускулов и нервов фигура Герцена займет центральное место. Его роль, „дьявольски умна“ (как говорит Белинский), полная острот, неожиданных сопоставлений, обаяния огромного отточенного ума сыграет эпоху в этих разговорах и поведет за собою к делу многих и многих из слушающих его. Он заставит робких людей (как Грановский, Кавелин) еще глубже уйти в себя, но он вызовет к жизни все деятельное, энергичное, и море слов перестанет так бесцельно волноваться и шуметь. Проследите эти разговоры, и вы найдете в них тридцатые годы с их романтизмом и культом Гегеля, сороковые, с их народничеством, а в лице Герцена, Некрасова перед вами восстанет первый образ шестидесятых рабочих годов.

В Берлине, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. В семейство Фроловых часто собирались русские студенты и встречали здесь всегда ласковый, задушевный прием. Сам Тургенев поселился на квартире с одним из своих товарищей русских, увлеченных по моде того времени Гегелем до мозга костей. „Товарищ“ заставлял его штудировать философию и отечески следить за его нравственностью.

Так прошло два года, за время которых случилось только одно по истине грустное событие—смерть Станкевича. Вот, что писал по этому поводу Тургенев Грановскому: „нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва я могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой. 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо.—Что остается мне сказать--к чему вам теперь мои слова? не для вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме, я его видел каждый день и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души. Тень близкой смерти уже тогда лежала на нем... Я оглядываюсь, ищу напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю?.. Кто достойней примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет итти по его дороге в его духе, с его силой?.. Но нет, мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь—дадим друг другу руки, станем теснее; один из нас упал, быть может лучший. Но возникают, возникнут и другие; рука Бога не перестает

сеять в душу зародыши великих стремлений, и рано или поздно свет победит тьму".

Как ни риторична форма этого письма—оно несомненно искренне.

Вернувшись из-за границы, Тургенев в 1843 г, впервые серьезно выступил на литературное поприще своей поэмой „Параша". Ничего особенного, выдающегося, чего-нибудь такого, что предвещало бы нарождение нового крупного таланта, в этом произведении нет. Однако оно возбудило довольно шумные толки, так как западничество Тургенева вылилось в „Параше" полностью и даже с юношеским задором. „Заподозрев в нем—говорит Анненков—с первых же его шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чужого воспитания и развития, словно задалась мыслью собрать как можно более помех на его жизненном пути. Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях, собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прикрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до „Записок Охотника"—иначе и не говорили, как о чудовищностях западного развития, пересаженных на русскую почву без всякого признака таланта. Не так думал Белинский, открывший сразу в „Параше" признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы: „что мне за дело до всех анекдотов о нем—говорил Белинский,—кто написал „Парашу", тот сумеет поправить себя в чем будет нужно и когда будет нужно"...

Сам Тургенев между тем, выпустив в свет „Парашу", уехал в Спасское и жил там, со страстью отдаваясь своему любимому занятию—охоте. Единственно, чего он ждал, была рецензия Белинского, которая, как он знал, должна была появиться в „Отечественных Записках". Пробовал он было читать свою вещь в Спасском матери, но Варвара Петровна только зевала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. „Постичь не могу, говорила она, — какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело! По-моему, писатель и писарь одно и то же... И тот и другой за деньги бумагу марают... Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомараньем... Да и кто же читает русские книги?" — Но ведь ты же сама любила и уважала Жуков

ского" – возражал Тургенев. — „Ах, это совсем другое — Жуковский!—Как его не уважать, — ты знаешь, как он близок ко двору". В душе Варвара Петровна решила, что сын блажит, и мешать его блажи не хотела; сама пройдет... Да и почему не поблажить в 25 лет?—ведь блажь тоже дворянское дело.

Но вот наступил май месяц и в новой книге „От. Зап." появилась нетерпеливо ожидавшаяся рецензия Белинского. Тургенев нервно, торопливо разрезал страницы, зная, что он воспринимает в эту минуту огненное крещение, и с замирающим от восторга сердцем прочел немногие посвященные ему строки. Вот что между прочим писал Белинский.

„Стиль в поэме обнаруживает *необыкновенный* поэтический талант; а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства, — все это показывает в авторе кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его. Об оригинальности мы не говорим: она то же, что талант— по крайней мере, без нее нет таланта. Многие найдут в поэме следы подражания Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая последовательность литературных явлений всегда смешивается толпою с холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящие понимают, что быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы, проявляя в своих произведениях упроченное ими литературе и обществу, и рабски подражать—совсем не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающегося, второе - безталантности".

Далее Белинский, определяя сущность таланта Тургенева, заметил, что основой его является „*глубокое чувство действительности*".

Легко понять, как такой отзыв должен был подействовать на молодого писателя. „Силы его удесятерились". Он почувствовал, что „любит весь свет", а больше всего на свете — Белинского. Он тут же дал себе клятву „сойтись с ним" и сделаться его „другом и учеником".

Очень может быть, что в настоящее время отзыв Белинского о „Параше" покажется слишком восторженным. Если в юношеской поэме и были красивые места, прелестные описания природы, то были, разумеется, и существеннейшие не

[illegible], [illegible] и [illegible] остроты, растянутость, бледность [illegible] в драматических сценах, отсутствие страстности и художественной [illegible]. Тургенев, вообще говоря, развивался очень медленно. Только тридцати лет он стал настоящим [illegible] и впервые („Хорь и Калиныч“) проявил свой [illegible] талант. Раньше он только пробовал: сочинял стихи и драмы, гонялся за эффектами, брал даже сюжеты из испанской жизни („Неосторожность“), конечно оставляя в них русские либеральные тенденции. „Параша“ сыграла [illegible] роль в жизни самого Тургенева и [illegible] в истории русской литературы. [illegible] можно с таким же правом, с каким напр. „Ганса Кюхельгартена“ Гоголя. Белинский [illegible] художественные достоинства [illegible], но он угадал талант, он угадал новое [illegible].

* * *

По поводу [illegible] можно сказать несколько слов. Я имею в виду [illegible] тенденцию рассказа, [illegible] взгляды автора. Что такое западничество? [illegible], как один из моментов, пережитых [illegible] „русской мыслью“, одно из увлечений чисто теоретических, [illegible] в свое время, ненужных в наши дни. [illegible], что западниками были Белинский, Грановский, Кавелин, но думаю, что западники [illegible] были бы теперь не иным анахронизмом. Мы уже [illegible] права [illegible] относиться к европейской жизни, чем они, и [illegible] на той точке зрения, к какой [illegible] Герцен, с какой Добролюбов смотрел на Кавура. Это точка зрения экономического реализма прежде всего. Если мы, как западники, можем хотеть свободы личности, то [illegible], что в Европе эта свобода [illegible], в доказательство чего можно привести рабочий и [illegible] вопросы. Но в 40-ые годы, когда существовало крепостничество, когда генерал [illegible] из [illegible] истории [illegible] встречному и поперечному, когда надо было бороться с ложно-[illegible] или попросту [illegible] направлением литературы, политики, самой жизни; когда [illegible] русского патриотизма [illegible] лучшие умы (Аксакова, Киреевского, Хомякова) — [illegible] западником значило быть передовым человеком [illegible] прежде всего [illegible]

противодействии славянофильству, в его *критицизме*. Недостаток славянофилов—прежде всего в их самодовольстве, в полнейшей невозможности осуществить их стремления. Славянофилы, требуя уничтожения крепостничества, были правы, велики, мудры. Те же славянофилы, уверяя, что формы западной культуры вредны для нас, что русский народ призван совершить нечто особенное и важное, а именно обновить человечество,—грешили тем, что породили самохвальство и боязнь мысли.

Западники говорили: европейская культура выше нашей русской; все, что есть хорошего в нашей жизни, взято нами у Европы; мы должны твердо держаться пути, указанного нам Петром Великим. В этих словах заключалась не только верная (отчасти) мысль, но и программа деятельности. Подобной программы не было у славянофилов, страдавших между прочим склонностью к звучным фразам. Они не любили Петрограда и восторгались Москвой; они считали вредной реформу Петра и звали назад к укладам русского народоправства (вече, „соборы" и пр.), как будто можно было вернуться туда,—они верили, что в области духа русские скажут последнее слово и вместе с тем сами отличались туманностью и неопределенностью мысли; они по-детски дорожили формой в одежде, в языке, в религии; они думали, что надеть сарафан или красную кумачную рубаху—значило уже сделать что-то такое важное. Люди даровитые, честные, они однако не завещали нам ничего ценного, и причина этого заключалась в том, что славянофилы сами не знали хорошенько, чего они хотели.

Разумеется, что не раз делавшиеся попытки примирить западников и славянофилов не приводили ни к чему. Славянофильство — учение сердца, подчас по-маниловски настроенного (напр. у Загоскина), не шло ни на какие соглашения; оно повидимому отвечало потребности русского человека восторгаться хотя-бы такою смутною idée, как русская подоплека или старорусское народоправство. Теперь славянофильство окончательно выдохлось и никогда не залечит ударов, нанесенных ему Белинским, Герценом, Тургеневым и особенно Вл. Соловьевым („Национальный Вопрос" 2 т.). Но выдохлось и западничество, ибо основа его была чисто теоретическая, отвлеченная. Европейская культура выше нашей, но основного зла европейской культуры, экономического неравенства и борьбы классов [illegible]

западники, как напр. Тургенев и Грановский, видеть не хотели. Свобода науки и исследования, веротерпимость, свобода слова и мысли были в их глазах настолько ценными благами, что в стремлении к ним они полагали смысл гражданской деятельности каждого образованного человека.

Самым ценным элементом западничества является его критицизм, вытекающий из сопоставления русских форм жизни с европейскими, и практичность. Западник знал, что ему делать и как ему делать. Жизнь на его стороне, и каждый день хотим ли мы этого, или не хотим — наша культура сближается с европейской. Это-то и заставляет оставить симпатичную и высокую идею русского мессианизма, так как до сей поры держится в тайне, в чем сущность этого мессианизма и когда для него наступит время.

Отвращение к крепостничеству, поездка за границу, дружба с Грановским и Станкевичем, любовь к европейской литературе сделали Тургенева западником. Влияние Белинского могущественно действовало в том же направлении. Я перехожу теперь к этому влиянию и замечу предварительно, что близость к Белинскому — самое поэтичное и лучшее, что было в его жизни.

* * *

„Возвратившись в Петроград из Спасского (летом 43 г.), — пишет Тургенев, — я отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву — жениться и потом поселился на даче в Лесном. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренне и глубоко; он благоволил ко мне...

„Когда я познакомился с ним, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышал и сам применял ее не однажды но действительно и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему — он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встал с дивана и едва слыш-

ным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было не легко.—„Мы не решили еще вопроса о существовании Бога,—сказал он мне однажды с горьким упреком,—а вы хотите есть!"...

„Сознаюсь,—продолжал Тургенев,—что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей.. Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова, и если при воспоминании об этой небольшой смешного улыбка может притти на уста, то разве улыбка умиления и удивления.

„Добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мною он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы".

Лето 43 г. закрепило дружеские отношения, конец которым был положен лишь смертью Белинского. Несомненно, что он имел на Тургенева большое нравственное влияние, вее равно как и на других членов своего кружка,—Некрасова например. Помню, что сказал однажды последний: „Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было огрубеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше!.. Я бы был не тем человеком, как теперь"... Спасать Тургенева было не от чего, но такие люди, как Белинский, закрепляют правду в сердцах всех, кто сходится с ними. Любопытно между прочим, что к Тургеневу Белинский относился по-отечески и зачастую журил его за барские за-

машки, за [illegible] хвастливость, [illegible] и за фразерство. Передам один эпизод. Однажды, напр., Тургенев занял денег у Некрасова и долго не отдавал, так как сам сидел без гроша. Об этом рассказал [illegible]. Он, придя к Панаевым, как нарочно встретил там Тургенева, собиравшегося итти обедать к Дюссо. [illegible] знал, что обыкновенно по четвергам в этот [illegible] сходилось много аристократи[illegible] и накинулся на Тургенева: „К [illegible] барина? Гораздо приличнее бы [illegible] чем, [illegible] [illegible] человеку, [illegible] деньги. [illegible], что [illegible] [illegible] сам занимает [illegible] [illegible] проценты. Добро бы вам [illegible] на что-нибудь путное, а то [illegible] и [illegible] ушел. Тургенев очень [illegible] и возразил: „Да ведь не [illegible] я [illegible] отдам Некрасову эти деньги... Просто [illegible]“. „Так вперед обдумывайте [illegible]; а для этого и говорил вам так [illegible], чтобы [illegible] следили за собой“. [illegible] Тургеневу [illegible] получать нередко. [illegible] его [illegible] за лень и неаккуратность.

[illegible], получаемые от Белинского, [illegible] он пробирал до [illegible]. Раз он [illegible] на Тургенева, когда узнал, что [illegible] салончиках“ уверяет „дам и кавалеров“, будто бы не берет литературного гонорара и [illegible] даром. „Да как вы [illegible], — Тургенев!.. Да [illegible] брать [illegible] собственный труд? Или по [illegible] может быть порядочным человеком?“ — [illegible] Белинский, нагоняя на лицо [illegible] и раскаяния.

[illegible] счастьем иметь возле себя такого [illegible] человека, как Белинский, этого [illegible] и благородства. И [illegible] выпало на долю Тургенева. [illegible], что, не встреться он с Белинским, не [illegible] вышло из него, что вышло в действительности. [illegible] Тургенева приходится [illegible] по себе невинный, но такой, на [illegible] крупнейшие [illegible]

цгн. Этот недостаток—всероссийская халатность, обломов
щина, отсутствие стойкости. Честнейшим и милейшим чело-
веком был, напр., Илья Ильич, а что значило ему прямо по
распущенности натворить сколько угодно бед, и крупных и
малых? Взять в долг денег и не заплатить в срок, не отве-
тить во-время на нужное письмо, [illegible] от этого ответа
зависело очень многое, обещать [illegible] и не исполнить
обещанного, разорить себя и чужих [illegible] от [illegible]
добродушия—все это совсем [illegible]. И такая
же черта халатности, не [illegible] отношения к
себе была очень глубоко заложена в Тургеневе. Приглашать
к себе в гости на обед, на дачу, а самому [illegible]
вать за поповной, забыв о гостях: обещать [illegible] в „Со-
временник" и забрать аванс у Краевского, [illegible]
рукописи во-время—все это, разумеется, мелочь, пустяк, [illegible]
такая мелочь, такой пустяк, от которых [illegible] сам
Тургенев настойчиво предостерегал [illegible]. И [illegible]
менно он был прав: ведь Белинский или Добролюбов [illegible]
когда не позволяли себе даже малейшего проявления рас-
пущенности, прекрасно понимая, что [illegible]
невинная и даже милая и привлекательная по форме, [illegible]
большими неудобствами в нормальной жизни.

Летом 1847 г. Белинский поехал в первый и последний
раз за границу. Тургенев встретил его в Штеттине и про-
жил с ним несколько недель в Зальцбрунне, маленьком си-
лезском городке, славившемся своими водами, будто бы
излечивающими от чахотки. Потом друзья в последний раз
увиделись в Париже, когда Белинскому оставалось жить
всего несколько месяцев, когда он уже устал и охладел ко
всему.

Для Тургенева образ Белинского навсегда остался в
сердце путеводной звездой. „И вот уже двадцать лет слиш-
ком прошло со смерти Белинского,—читаем мы в литера-
турных воспоминаниях, написанных в 1868 г.,—[illegible]
его дорогую тень. Не знаю, насколько мне удалось передать
читателям главные черты его образа, но я уже доволен
тем, что он побыл со мною в моем воспоминании... „Чело-
век он был!"..

Внешняя сторона жизни Тургенева за время сороковых
годов может быть рассказана в немногих словах. Четыре
зимы (1843—1846) он пробыл в Петербурге, [illegible] 1846 году

опять уехал за границу. Он пробовал служить, но неудачно, и скоро вышел в отставку. Тогда же случилась его первая серьезная размолвка с матерью, причина которой нам неизвестна. Излагают впрочем историю этой ссоры так: однажды Тургенев приехал в Спасское. Не зная, чем ему угодить, Варвара Петровна устроила ему особенно-торжественную встречу, велела всем дворовым мужчинам и женщинам выстроиться в ряд по под'ездной аллее и как только барин покажется, о чем должны были известить расставленные впереди верховые,—приветствовать его „громко и радостно". Тургенев рассердился и немедленно, повернув лошадей, вернулся в Петроград. Этого Варвара Петровна не могла простить ему вплоть до самой смерти и умерла непримиренная с сыном. Как бы то ни было, благодаря ссоре, Тургенев остался лишь при своем литературном заработке и сильно нуждался, так что и обедать ему приходилось не каждый день. В Берлин он отправился главным образом потому, что там в это время находилась знаменитая некогда певица Виардо Гарсиа, которую Тургенев видел ранее в Петрограде, сразу полюбил и уже на всю жизнь.

Время, когда мы могли бы совершенно свободно разбирать отношения Тургенева к Виардо, еще не пришло. Ограничусь поэтому немногими достоверными фактами.

— „Я помню,— рассказывает Головачева,—раз вечером, Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.

— Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть другого на свете счастливее меня человека!—говорил он.

Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось что у Тургенева очень болела голова и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Белинский не любил, когда прерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и наконец воскликнул нетерпеливо:

— Хотите, господа, продолжать игру, или смешать карты?

Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу:

— Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?"

Белинский однако ошибся, любовь Тургенева оказалась

не трескучей, а преданной и покорной, любовью на всю жизнь. Виардо отлично пела и играла, но была далеко не красавица; особенно неприятно поражал ее огромный рот. Имея европейскую известность, она держала себя гордо и недоступно. Щедрости не было в числе ее добродетелей, скорее наоборот. Проведя большую часть жизни в Париже и при различных дворах, окруженная избранным обществом и безумною роскошью, она, несмотря на невысокое происхождение, усвоила себе лоск светской гранд-дамы, что было далеко не безразлично в глазах И. С. Тургенева. Разумеется, первое время он только вздыхал и восторгался, но потом Виардо приблизила его к себе, и он всю вторую половину жизни провел под одной кровлей с ее семьей или где-нибудь рядом. В 46-ом году он при первой же возможности помчался за ней в Германию.

Пич (Pietsch) часто встречался с Тургеневым в Берлине в 40 гг. и подробно рассказал нам о своем знакомстве с ним. Между прочим интересно описание наружности Тургенева: „Тогда его волосы, поседевшие с 1868 года, были еще темнорусыми и, вместо полной бороды, только короткие русые усы оттеняли его верхнюю губу. Головой и ростом он напоминал нам Петра Великого в молодости, хотя он и не имел ничего общего с подлинной и необузданной натурой великого преобразователя России. Эти массивные голова и тело вмещали в себе утонченный ум, добрую и мягкую, гуманную душу. Это был человек, не сделавший никому ни малейшего вреда, кроме разве животных, убитых им на охоте, так как он всю свою жизнь был страстным и неутомимым охотником.

„Ни у кого, кроме Тургенева,—продолжал Пич,—мы не встречали такой утонченности чувств, такого оригинального уменья все видеть и подобного искусства все виденное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, с живостью и меткой определительностью, со всеми подробностями и со всей привлекательностью и очарованием поэтического изображения, при всей сжатости рассказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, как все идеалисты того времени, склонные к умозрительности, не обладали таким врожденным пониманием природы и уменьем схватывать действительность, что впрочем вполне объясняется абстрактностью нашего воспитания. Тем сильнее и новее было впечатление беседы Тургенева“.

Пич отмечает еще в Тургеневе черту поразившей его скромности:

„Удивительнее всего,—говорит он,—что Тургенев, против обыкновения всех поэтов, ни одним словом не обмолвился тогда о том, что в его отечестве он уже был известен за выдающегося писателя. Очень часто, под впечатлением его художественного рассказа и всего его существа, я говорил ему: „Вы—истинный поэт! вы—великий, единственный в мире рассказчик! ваш народ и весь свет узнают вас и будут удивляться вам“. Улыбаясь, он отклонял эти похвалы и уверял,—о, лицемер!—что в нем нет ничего поэтического. Рассказы Тургенева отличались „глубоким унынием“. „Его тяготило грустное положение родины,—особенно торжествующее крепостничество, к которому он возвращался то и дело с ненавистью и с отвращением“. Любопытен, между прочим, эпизод о бабушке Тургенева, переданный им самим Пичу. Вот что рассказывал Тургенев:

„Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличом и почти неподвижно сидевшая в кресле, рассердившись однажды на казачка, который ей услуживал, за какой-то недосмотр, в порыве гнева, схватила полено и ударила мальчика по голове так сильно, что он упал без чувств. Это зрелище произвело на нее неприятное впечатление; она нагнулась и приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, и теперь еще помню то неподдельное выражение, которое Тургенев употребил при этом рассказе,—*и села на него, задушила его*. Само собою разумеется, эта величественная барыня ничем за это не поплатилась“.

Больше о пребывании Тургенева в Берлине мы не знаем ничего. В заключении этой главы—несколько слов о его литературной деятельности в рассматриваемый период. Пич, уверяя, что в 46 г. Тургенев был уже признанным русским писателем и даже „выдающимся“, очевидно преувеличивает дело. Раньше 52 г., т. е. до выхода в свет отдельным изданием „Записок Охотника“, Тургенев не знал не только славы, а даже известности. Виновен был впрочем он сам. Он писал стихи, по поводу которых сам впоследствии сказал следующие неоспоримые слова: „я чувствую положительную, чуть не физическую антипатию к моим стихотворениям—и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм, но дорого бы дал, чтобы их вообще

не существовало на свете". Он писал драмы и комедии, но, кроме трех из них: „Месяц в деревне", „Провинциалка" и „Холостяк", ни одна не может остановить на себе внимание читателя.

Приходится просто удивиться, что из-под пера Тургенева вышла такая слабая вещь, как „Неосторожность" — драма из испанских нравов, как выразился справедливо один из критиков — или „Безденежье"! *Нашел себя* Тургенев только в „Записках Охотника", но странная судьба постигла эту по стилю чудную вещь! Что „Записки Охотника" носят на себе печать гения — это несомненно; однако Белинский, [illegible] устность, отнесся к ним холодно, и первая, настоящая критика принадлежит — как это ни странно, — не Белинскому, а Анненскому.

Впрочем и Анненский не сумел оценить полностью содержания „Записок". Им, например, совершенно не указана та политическая (за которую, кстати сказать, Тургенев отсидел два месяца в кутузке, — [illegible], Белинский ее видел, а Анненский не видел) сторона рассказов, именно резкий и искренний протест против крепостного права! „Записки Охотника" — популярнейшее в настоящее время произведение Тургенева, нечто „вечное", как говорили в 30-х годах, — были оценены не критикой, а публикой, которая раскупила нарасхват два первых тома. Публика поняла, в чем тут дело, поняла, что небо послало ей новый, огромный художественный талант, и мало того: талант с сердцем искренне любящим, искренне ненавидящим. Она пошла за ним с [illegible], возвела его в 50-х годах на степень кумира и полубога и не обманулась. Она изменила Тургеневу лишь в эпоху появления „Отцов и Детей", но эта измена была лишь временной и, как скоро увидим, более чем несправедливой.

„Записки Охотника" были необходимым дополнением к [illegible] шутке Гоголя — „Мертвым Душам", читая которые лишь сквозь [illegible] видишь, что делали крепостные Манилова, Ноздрева, Петуха, Собакевича, Плюшкина. В сравнении с „Записк. Охотн." „Мертвые Души" идиллия, так как, изучая последние, чувствуешь, что везде „мужички живут помаленьку". Впрочем и не мужиками интересовался Гоголь.

В истории развития наших народнических и демократических идей „Записки Охотн." сыграли огромную и пло-

творную роль, — не меньшую, по нашему мнению, чем прославленная повесть Д. В. Григоровича — „Антон Горемыка“.

III.

Пятидесятые годы. — Кружок эпикурейцев.

Я выделяю 50-ые годы в отдельную главу, так как это десятилетие имело особенное значение в жизни и деятельности Тургенева. Заметим прежде всего, что за этот промежуток времени появились: „Рудин“, „Фауст“, „Дворянское Гнездо“, „Накануне“ и были написаны „Отцы и Дети“. Слава Тургенева, год от году [illegible] такой несокрушимой [illegible], как два тома „Записок Охотника“, [illegible] в [illegible] этого периода достигла [illegible] до [illegible]. Даже Гоголь [illegible] в России Тургенева первого из русских писателей [illegible]. Между прочим [illegible] отметить любопытное хронологическое совпадение: „Записки Охотника“ появились в год смерти Гоголя, и автор „Ревизора“ как бы передал свое первое место в литературе автору „Муму“, „Однодворца Овсяникова“, „Рудина“ и „Фауста“.

С отношений Тургенева и Гоголя мы и начнем свой рассказ. Сначала впрочем упомянем об одном важном эпизоде. В 1850 г. умерла В. П. Тургенева и оставила в наследство сыну громадные, прекрасно устроенные имения. Он внезапно стал богачем, человеком безусловно свободным и безусловно независимым. Что же сделал он для своих крестьян? Вот его собственные слова: „я немедленно отпустил дворовых на волю, изъявивших желание крестьян перевел на оброк, всегда и всячески содействовал успеху общего освобождения. При выкупе везде уступил пятую часть — а в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другие, быть может, на моем месте сделали бы больше и скорее, но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни на есть. Хвастаться ею нечего, но и бесчестья, я полагаю, она принести мне не может“.

Теперь об отношениях к Гоголю. Мы уже говорили о первой их встрече в аудитории Петроградского универси-

тета; от первой встречи до второй (1851 г.) прошло слишком 15 лет. „Меня—пишет Тургенев—свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Я не готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание". Гоголь, в свою очередь, очень симпатично относился к молодому литератору, хвалил его рассказы и как-то раз заметил даже, что „теперь стоит читать только одного Тургенева". Гоголь весело встретил гостей и проговорил: „нам давно следовало быть знакомыми". Несмотря на веселый тон, вид его поразил Тургенева. Он казался худым и испитым человеком, которого успела уже порядком измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению лица. „Какое ты умное, странное и больное существо", невольно думалось, глядя на него. „Помнится,—продолжает Тургенев,—мы с Щепкиным ехали к Гоголю, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове: вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении „Мертвых Душ",—об этой второй части, над которою он так долго и упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью". При встрече Гоголь, против обыкновения, оказался очень словоохотливым. Он много и прекрасно говорил о литературе, о призвании писателя. Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, уменье защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, Тургенев увидел перед собой автора знаменитой „Переписки". Разговор, по инициативе самого Гоголя, перешел на эту последнюю. Гоголь оправдывался как-то „беспокойно, смущенно и торопливо", уверяя, что никогда не был в оппозиции, что и в юности держался тех же мыслей, и в доказательство приводил выдержки из „Арабесок"!.. В самый разгар беседы „какая-то старая барыня приехала к Гоголю и привезла ему просфору с вынутой частицей". Визит на этом и закончился.

Вскоре после этого, в феврале 1852 г., Гоголь умер. Тургенев написал некролог, но петроградская цензура за-

йрестiя и также что и он появился в „Московских Ведомостях". Это обстоятельство стоило Тургеневу порядочных неприятностей. „Вот за это,- рассказывает он,—я за ослушание и нарушение цензурных правил (хотя, заметим, некролог был рассмотрен и пропущен попечителем московского округа Назимовым, тем самым, который требовал, чтобы книги в библиотеках расставлялись „по росту") был посажен на месяц под арест в часть. Первые 24 часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об „аромате птиц". Потом меня отправили на жительство в деревню".

Подоплёка этой истории довольно интересна. Статья о Гоголе, написанная приподнятым и риторическим языком, послужила скорее поводом, чем причиной ареста и ссылки Тургенева. Истинная причина заключалась в том, что жандармское управление не могло простить автору „Записок Охотника" духа его рассказов, который она учуяла лучше даже, чем критика. Знакомство с Белинским, частые поездки за границу, рассказы о крепостных — все это делало Тургенева человеком подозрительным или, как выразился изысканно вежливый полицейский унтер, „неблагонадежным". Но и в самой статье было кое-что, что могло не понравиться наверху, именно ее восторженность.

„В то время, - говорит Головачева, - строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей. Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву".

„Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголе и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петроградское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензором. Когда Панаев уговаривал Тургенева быть осторожным, то он на это отвечал: „За Гоголя я готов сидеть в крепости".

„Вероятно эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, с своей улыбкой сказал ему: „одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия".

Арест и высылка Тургенева были обставлены очень некрасиво. Тогдашний попечитель петербургского округа Мусин-Пушкин заверил высшее начальство, что он призывал Тургенева лично и лично передал запрещение цензурного комитета печатать статью. «*А я — говорит Тургенев — Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним общения не имел*».

Отсидевши три недели, где следовало, Тургенев, в мае месяце, сопровождаемый жандармом, отправился в Спасское. „Все к лучшему,—говорит он, — пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно ускользнули бы от моего внимания".

Домашний арест в Спасском не был строг, и Тургеневу скоро было разрешено наведываться в Петроград по своим делам. Единственное лишение, которое он испытывал, было то, что ему не давали заграничного паспорта, так что вплоть до 56 года он делил свое время между столицами и деревней. Работал он много, еще больше охотился и почти никогда не оставался один, даже в Спасском, куда то и дело наезжали его друзья: Д. Григорович, В. Боткин, Дружинин.

„У меня—пишет Тургенев Полонскому в июне 1855 г.—гостили Григорович, Дружинин и Боткин. Мы время проводили очень весело, разыграли на домашнем театре глупейший фарс собственного изобретения и проч., и проч., и проч. Теперь все стало у меня в доме очень тихо, и я принялся за работу. Ужасная засуха чуть не помешала всему, заставляя сидеть в темных комнатах и лишая всякой возможности работать, но теперь, к счастью, пошли дожди, а то бы все хлеба пропали".

Если на основании последних слов читатель подумает, что Тургенев был склонен к особенным [illegible] о своих хлебах и урожаях—он сильно ошибется. [illegible] хозяйственной жилки в Тургеневе не было, [illegible] про- [illegible] сильно отличается от Л. Н. Толстого. Он сам то и дело называет себя „безалабернейшим из русских помещиков". В управление своими громадными имениями он даже не вмешивался, поручая его то своему дяде, то поэту Тютчеву, то первому попавшемуся на глаза встречному. Раз зашла об этом речь, заметим, что Тургенев был очень богат, полу-

чал никак не менее 20 тысяч в год с земли и, разумеется, всегда нуждался в деньгах, всегда сидел без гроша, перехватывая в долг то там, то здесь и раздавая сотнями направо и налево. Размашистые привычки широкого русского барства доставили Тургеневу много неприятностей в жизни и породили массу глупых, но обидных сплетен. Литературный заработок Тургенева был также очень значителен; в доходах „Современника", очень крупных, он участвовал, как пайщик; одно отдельное издание его „Записок" приносило ему 2.500 чистых в год, а право издания его сочинений покупалось у него за 20—25 т. руб.

Но это между прочим. Вернемся к пребыванию в Спасском. Здесь у Тургенева была малоизвестная любовная история, о которой говорят лишь намеками. В догадки вдаваться не будем, а ограничимся лишь замечанием, что незаконная дочь Тургенева, воспитанная им по-аристократически, принесла ему мало радостей. Он впрочем и сам был к ней мало привязан, гораздо меньше, чем к дочерям m-me Виардо.

Что же за люди окружали Тургенева? что представлял кружок, в котором он постоянно вращался? На этот вопрос постараемся ответить обстоятельнее.

У каждого десятилетия русской истории XIX-го века есть свой излюбленный герой. Герой тридцатых годов разочарован; он поклоняется Байрону, любит рассуждать о таинственном и страшном, „в обществе он держится сумрачно, сдержанно, с бурей в душе и пламенем в крови". Женские сердца пожираются им. Он носит прозвище „фатального". „Тип этот,—говорит Тургенев,—сохранялся долго, до времен Печорина... Чего-чего не было в этом типе, и байронизм, и романтизм; воспоминания о французской революции и декабристах—и обожание Наполеона, вера в судьбу, звезду, силу характера, поза и фраза, и тоска пустоты; тревожные волнения мелкого самолюбия—и действительная сила, отвага; благородные стремленья и плохое воспитанье"... Придайте этому герою творческий гений, и перед вами восстанет сумрачная фигура Лермонтова.

Герой сороковых годов—идеалист и народник. Лучшее проявление этого типа—Белинский. „Герой" преклоняется перед Гегелем, признает самостоятельное значение искусства, но в то же время с восторгом читает Леру и Жорж Занд и набирается народолюбческого духа.

Герой 50-х годов — эстетик и эпикуреец. Он обожает Пушкина и Гете, он проповедует искусство для искусства. Он—оптимист в душе.

Герой 60-х годов—прежде всего работник и, как таковой, ригорист.

Эстетики, эпикурейцы и оптимисты в душе и составляли ближайший кружок Тургенева. Самыми типичными из них следует признать В. П. Боткина и Дружинина.

Василий Петрович Боткин обладал несомненным, хотя и не первоклассным литературным дарованием, что очевидно для каждого, взявшего на себя труд прочесть два тома его „Писем из Испании“, где все страницы, посвященные описанию художественных памятников, положительно хороши. Но, как человек, В. Боткин не может возбуждать в нас особой симпатии, разве за свои отношения к Белинскому, очень впрочем непродолжительные. Богатый и родовитый помещик, он всю жизнь провел, кочуя по заграничным курортам, и бывал в России преимущественно наездами. Горячих интересов в его жизни не было, и одна невысокая страсть владела им—страсть к гастрономии. Про его подвиги в этом отношении Фет рассказывает чудеса, впадая почему-то в восторженный тон при описании закусок и жарких, уничтожаемых Боткиным. Боткин, несмотря на значительное состояние, был скуп. В общем это умный, европейски образованный эпикуреец, равнодушный ко всему гражданскому и тонкий ценитель художественных произведений, особенно живописи.

Дружинин, прославленный критик пятидесятых годов, переводчик Шекспира и знаток английской литературы, для пропаганды которой в России он, благодаря своему легкому слогу, приятному и красивому изложению, сделал очень много—еще при жизни пережил свою известность. Как и у других пятидесятников, ничего гражданского в нем не было. Он жил культом красоты, поэзии Шекспира и Пушкина, Шеридана и Карлейля, в котором, кстати заметить, особенно ценил юмор и образный язык.

Особенно винить их за эпикуреизм, отсутствие гражданских чувств, не приходится, ибо атмосфера, которой они дышали, была слишком душна. Как живые люди, они должны были чем-нибудь увлекаться, чувство самосохранения заставило увлекаться их предметами самыми отвлеченными, самыми далекими от практической деятельности.

Связь с эстетикой 50-х годов у Тургенева кровная, сердечная, органическая, если можно так сказать. Он разделял вместе с своими друзьями обожание к Пушкину, не признавал поэтом Некрасова и в сущности склонялся на сторону искусства для искусства. Но сороковые годы задели мысль его сильнее, чем других беллетристов, почему дойти до такого гражданского индифферентизма, как Боткин или Дружинин, он не мог. Дружба с Белинским и чудный образ этого борца и трибуна не исчезал из его души никогда и полагал индифферентизму преграду, за которую Тургенев не переступал даже в душной атмосфере 50-х годов. Тургенев все же был прогрессистом, хотя порою несколько платоническим; честность же его мысли вне сомнений. Возьмите однако его отношение к Некрасову, как к поэту, и Герцену — вы сейчас же увидите перед собой пятидесятника. Стихи Некрасова он называл „жованой бумагой, политой крепкой водкой", и не раз высказывал ему прямо в глаза свою антипатию к его произведениям.

В оценке Тургенева полностью выразилась эстетическая точка зрения пятидесятников. Но от излишков в этом случае, кроме воспоминаний о Белинском, спасал его и острый ум, воспитанный и образованный по-европейски. Также органически не мог он пристать к движению славянофилов, как и к реакции: его постоянно коробило от приемов николаевских консерваторов, от „Переписки" Гоголя и шпионства „Московских Ведомостей".

В личной жизни, кроме рассказанного уже выше эпизода с некрологом Гоголя — ничего особенного не приключилось с Тургеневым вплоть до отъезда за границу в конце 56-го года. Разумеется, он уехал туда, как только оказалось возможным, не дождавшись даже выхода в свет издания своих повестей, предпринятого Анненковым. Эти повести наделали много шуму, несмотря на то, что общее внимание было приковано событиями на южном берегу Крыма, где происходила тогда знаменитая осада Севастополя.

Слишком известно значение крымской войны, чтобы стоило о нем распространяться. Смысл его заключается в том, что мы, мнившие себя богатыми, оказались бедными, считая себя непобедимыми, оказались разбитыми на всех пунктах. Мрачное предсказание Милютина — будущего военного министра, сделанное им накануне войны, оказалось как нельзя более справедливым

Но неудачи и возродили Россию к новой жизни. Повея[illegible] новым духом, появились в литературе новые песни, и [illegible]ачная эпоха первой половины пятидесятых годов канула в вечность. Тургенев жил в Париже и внимательно следил за всем, что пишется и делается в России. Новому курсу он сочувствовал искренне и понимал его тем более, что готовилось так дорогое его душе дело, как освобождение крепостных крестьян. Его ум, образованность, привычка к европейской жизни позволяли ему не растеряться в новом [illegible] зарождающемся движении. Он не чувствовал себя сразу не у дел, как например Дружинин, хотя, разумеется, многие повие[illegible] были ему не по сердцу. На сцену выступили работ[illegible], занятые прежде всего решением практических вопросов, стремившиеся к созданию в России общества,—люди [illegible] и не посторонние, то во всяком случае сравнительно равнодушные к искусству. Как же отнесся к ним барич и [illegible]куреец Тургенев?

„Я [illegible] например Дружинину [illegible] на Черны[illegible] за его черствый вкус и сухость, а также и за его [illegible] обращение с живыми людьми, по „мертвечи[illegible]“ я в нем не нахожу, напротив, я чувствую в нем струю [illegible], хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в [illegible]. Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не [illegible]: критик не делает поэтов и не убивает их; но [illegible] понимает — как это выразить? — потребности действитель[illegible] современной жизни, и в нем это не есть проявление [illegible], как говорил некогда милейший Гри[illegible], а самый корень всего его существования“. То же [illegible] Тургенев и Толстому: „Теперь о статьях Чер[illegible] [illegible] — Мне в них не нравится их [illegible] и [illegible], выражение черствой души, но я радуюсь воз[illegible] их появления, радуюсь воспоминаниям о Белин[illegible], выпискам из его статей, радуюсь тому, что наконец [illegible] с уважением его имя“. Чернышевский же, как [illegible], был главарем прогрессивного течения [illegible]; утилитарием и экономический [illegible] от него.

Одинаково характерно отношение Тургенева к другому [illegible] силе нашего реализма — к Д. И. Писа[illegible]реву. Правда, говоря об этом отношении, я забегаю вперед, но общность темы позволяет мне преступить против хронологии.

„Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 67 г., во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь посетить меня. Я до сих пор с ним не встречался и читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду“. Тургенев долго развивал свою тему. „Не знаю — добавляет он, — что́ подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно он не согласился со мной“.

* * *

Я уже имел случай заметить выше, что, несмотря на крымскую кампанию и на то, что общее внимание было направлено совсем не в сторону литературы и искусств, каждая новая вещь Тургенева, написанная им в течение 50-ых годов, составляла своего рода эпоху и возбуждала горячую журнальную полемику. Особенно много споров и толков было по поводу „Рудина“ (1856 г.). „Рудин“ в скором времени стал таким же нарицательным именем,—таким, как Онегин, Печорин, Чацкий. В этом типе Тургенев воплотил все лучшие, благородные черты поколения сороковых годов, и вы видите, как все это лучшее, благородное подорвано в самом корне своей органической связью с крепостным бытом, своими барскими замашками, своей расшатанной, надломленной волей. Рудин прекрасно образован, даровит, талантлив даже, а между тем итти дальше благородного кипения и горения он не может. Он не способен ни к какой упорной, систематической работе, не способен к труду, хотя-бы и ничтожному, но такому, в котором пришлось бы запачкать свои белые, выхоленные барские руки. Порыв—вот сфера, где он чувствует себя, как рыба в воде, слово—вот орудие, в пользовании которым он не знает себе равного. Но он чувствует инстинктивно отвращение ко всему, что́ напоминает упорную, прямую воловью работу. Его руки скоро устают, сердце скоро охладевает, нервы утомляются; быстро переходит он от восторга к меланхолии. Он — эстетик по преимуществу. Он готов умереть за свои убеждения, но для этого нужна особенная, возбуждающая, красивая или ужасная обстановка. Он никогда не может отрешиться

от известного рода театральности в словах и поступках. У него орлиное сердце, орлиный ум, но крохотные, слабые крылья. Его-то главным образом имел в виду Вогюэ, когда писал свою характеристику русского интеллигента, где между прочим попадаются такие строки: „в большинстве случаев этот молодой человек образован, грустен, богат идеями и беден действиями, вечно готовится к работе, мучится идеалом общественного блага, идеалом смутным, великодушным. Это любимый тип русского романа“. Трудно не полюбить Рудина, еще труднее не жалеть его. Его надорванная воля надорвана не им самим, а поколениями предков-крепостников. Рудин расплатился по громадному счету и погиб. Десятилетья безделья, тунеядства, холопства перед сильным, издевательства над слабым, роскошных забав, добросовестного ребяческого разврата—надломили его. Если когда-нибудь в его душе копошилось проклятие—то это проклятие „обманутого сына над промотавшимся отцом“.

В характере Рудина есть много такого, что напоминает самого Тургенева. Несомненное рыцарство и не особенно высокое тщеславие, идеализм и склонность к меланхолии, огромный ум и надломленная воля—разве это не автор „Отцов и детей“?

Критика не сразу поняла и оценила Рудина, хотя этот яркий образ поразил ее. Живя за границей и читая суждения, часто несправедливые, а иногда прямо обидные, Тургенев ощущал не только вполне законное недовольство, но и тоску. Как десять лет до этого, как восемь лет спустя, он думал даже отказаться от литературной деятельности,—желание, которое можно об'яснить лишь его особенной болезненной мнительностью.

„Все это вздор,—писал он, например, в 1857 г. В. П. Боткину,—таланта с особенною физиономиею и цельностью у меня нет; были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали—повторяться не хочется. В отставку! Это не вспышка досады, поверь мне, это выражение или плод медленно созревшего убеждения. Неуспех моих повестей ничего не сказал нового... Так как я порядочно владею российским языком, то я намерен заняться переводом „Дон-Кихота“—если буду здоров“.

К счастью это было временным и даже мимолетным настроением, приступом ипохондрии—не больше. В том же

57 г. Тургенев написал „Асю“. Опять та же мнительность заставила его предположить, что „Ася окончательно [illegible] греском провалилась“, а между тем повесть вызвала [illegible] сочувственную критическую статью Чернышевского, под заглавием „Русский человек на rendez-vous“.

В „Асе“ есть кое-что автобиографическое, чего [illegible] мы касаться не можем, почему и ограничимся немногими словами о произведении вообще. Любопытно, между прочим, что уже по отзывам критиков об „Асе“ и „Рудине“ [illegible] было ожидать разрыва Тургенева с шестидесятниками. Чернышевский в своей статье с обычной резкостью [illegible] рует почву назревающей ссоры, хотя в самом начале [illegible] чивает, что „Ася“—едва-ли не единственная [illegible] повесть“. В чем тут дело? Исключительно [illegible] [illegible] кую натуру, да и не мог не [illegible] Тургенев [illegible] по дряблым людям—к честным, но не [illegible] рам—к идеалистам, робко и [illegible] от жизни и действительности. Эта барская [illegible] патия не могла не претить Чернышевскому. „Так ли, спрашивает критик,—автор ошибся в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к тому же положению, как в „Асе“, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфуженными перед нами. В „Фаусте“ герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней—это его дело, а по части решительности он даже в словах держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его... Он... не [illegible]“. Не удивительно, что после такого поведения жалкого человека (иначе как поведением нельзя назвать отношения этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка, еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“, почти то же в „Рудине“, и в „Асе“...

Эта выписка из статьи Чернышевского [illegible] [illegible] точку зрения. Иначе как с [illegible] не может [illegible] он к бесхарактерности тургеневских героев, как [illegible], [illegible] и дорога прежде всего [illegible], уверенность и [illegible] непреклонность в убеждениях. И он, разумеется, [illegible] чтобы бесхарактерные герои [illegible] окруженными [illegible] самой чистой, [illegible], [illegible].

В [illegible] г. Тургенев ненадолго вернулся в Россию, но оставаться здесь он уже не мог. Отношения к семейству Виардо [illegible] все более тесными, и к этому же времени осуществилась давнишняя мечта Тургенева — сделаться европейским писателем. Переводы его повестей и рассказов на иностранные языки стали уже обычными и вызывали к [illegible] самое лестное внимание. После 60-го года Тургенев [illegible] в России лишь урывками.

IV.

Шестидесятые годы. — „Отцы и Дети“.

Прежде чем описывать перелом в жизни Тургенева, [illegible] появлением его „Отцов и Детей“, я хочу [illegible] по одному пункту, едва затронутому [illegible] страницах. Я сказал, что в течение [illegible] годов Тургенев сделался европейским писателем и [illegible] мечтой. Утверждая это, [illegible] на свидетельство Панаевой. По ее [illegible] Тургеневым и Некрасовым еще в 52 г. [illegible] характерный разговор:

[illegible] современных ему литераторов был [illegible] иностранной литературы [illegible] Некрасов и Панаев [illegible]

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — говорил Тургенев, — [illegible] у нас могут [illegible] такие великие писатели, как Данте, Шекспир!

— [illegible] Тургенев, — заметил Некрасов, — [illegible] Шекспир

[illegible] и произнес:

[illegible] Ты собрат [illegible] образованные [illegible] на всем земном шаре уже несколько веков и беско[illegible] писатели, а Гоголя будут [illegible] русские, да и то несколько тысяч, а [illegible] Европа не будет и знать даже о его существовании!

[illegible] Тургенев уныло продолжал:

[illegible] русских [illegible] существование [illegible]

временно и бесцветно! Право, обидно; даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают.

— Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать,—сказал Некрасов.

— Завидую твоим скромным желаниям!—ироническим тоном отвечал Тургенев.—Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества, а мы? Какие-то парии! не смеем высказать ни наших мыслей, ни наших порывов души—сейчас нас в кутузку, да и это мы должны считать за милость... Сидишь, пишешь и знаешь заранее, что участь твоего произведения зависит от каких-то бухарцев, закутанных в десяти халатах в которых они преют, и так принюхались к своему вонючему поту, что чуть пахнет на их конусообразные головы свежий воздух, приходят в ярость и, как дикие звери, начинают вырывать куски из твоего сочинения! По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики, а у кого увидят перо в руках,—сажать на кол!.. Нет, только меня и видели: как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

— Это тебе так кажется, а поживешь за границей, так потянет тебя в Россию,—произнес Некрасов,—нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них, право, нам ничего хорошего не написать. Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляют меня сознавать, как я развращен перед ним и сердцем, и умом, и краснеешь за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей... Может быть тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми у меня не появляется этого сознания! А главное, на русских писателях лежит долг по мере сил и возможности раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа.

— Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям.

— Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе?

— Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз различить не может, да и в воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибает. Нет, я в душе—европеец, мои требования от жизни тоже европейские. Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник и мне выпадет жребий быть с'еденным на празднике людоедов! да и квасного патриотизма я не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда и кончика моего носа не увидите"...

Мечта Тургенева сбылась. Одной из миссий его гения было ознакомить Европу с русским художественным творчеством и заинтересовать ее им. С этою целью, напр., он постоянно переводил или руководил переводами сочинений Толстого. Цели своей он достиг как нельзя лучше. Он был первым пионером; теперь почти все лучшие произведения русской литературы (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой) переведены на иностранные языки, а что может быть важнее для развития взаимной симпатии между народами, как не знакомство с памятниками духа той или другой национальности?

Никто, заметим, не был лучше Тургенева приспособлен к этой высокой и трудной задаче. Он по самому существу своего дарования был не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет напр. Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так родственен и близок, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские—общечеловеческие, пожалуй, даже абстрактно-психологические. Конечно, люди—везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и скорби их посещают. Но, когда Гоголь рисовал свои образы, он их вырывал, так сказать, с корнем из русской жизни и так их и пред'являл читателю. Тургенев давал своим образам только обстановку русскую, и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной интерес: тонко разработанный знакомый общечеловеческий тип на фоне чужой, своеобразной обстановки.

Но в то время, как слава Тургенева за границей быстро наростала, случился грустный анекдот—ссора Тургенева с русской молодежью и почти формального предания вели-

кого писателя остракизму. Это знаменитая история с „Отцами и Детьми“. Чтобы понять ее, надо иметь в виду следующее:

1) К своему постоянному сотруднику Тургеневу „Современник“, вообще говоря, относился хотя и без восторгов, но с полным уважением. В „Современнике“ вплоть до 62 года печаталось все, что выходило из-под пера знаменитого романиста. Здесь появились „Рудин“, „Фауст“, „Ася“, „Дворянское Гнездо“, „Накануне“ и т. д. Здесь же Чернышевский напечатал свою статью об „Асе“, Добролюбов — о „Накануне“. Сам Тургенев был связан с Некрасовым воспоминаниями о Белинском, о вместе проведенной юности; к „Современнику“ он привык и смотрел на него, как на свой журнал; в Чернышевском ценил понимание действительности и ее потребностей; на первых порах он хорошо относился и к Добролюбову. Казалось бы, чего лучше? Но Тургенев был человек слабый, нерешительный. Возле него всегда находилась толпа прихлебателей, льстивших, наушничавших и т. д. Тургенев отделаться от них не мог, хотя они и надоели ему, как осенние мухи. Хорошенько неизвестно, зачем и почему, но этим господам понадобилось рассорить Тургенева с „Современником“, и прежде всего с Добролюбовым. Это им удалось, хотя формальной ссоры не произошло. Совершенно неожиданно после появления статьи Добролюбова о „Накануне“, — статьи, хотя и сдержанной, но умной и честной, Тургенев заявил Некрасову: „я или Добролюбов — выбирай“. Некрасов хотел было пойти на какой-нибудь компромисс, но это не удалось, Тургенев стоял на том, что статья Добролюбова для него обидна. Потому-то „Отцы и Дети“ вместо „Современника“ появились в „Русском Вестнике“, — журнале, пользовавшемся совсем другой репутацией и имевшем совершенно другой круг читателей, чем „Современник“.

В рассказанном столкновении многое и до сей поры остается неясным, мне даже неловко несколько сообщать читателю эту грустную литературную дрязгу, но — увы — кому из русских писателей удалось прожить без дрязг, без обид, обусловленных непотощимым обилием литературной сволочи? Тургенев был повидимому не совсем прав, но кто же особенно строго отнесется к нему за то, что он поверил наушничеству? Ведь поймали же на ту же удочку Герцена, который поместил в своем журнале статью, где неизвестный мужчина смешивал Добролюбова чуть ли не с грязью!

Лично Тургенев знал Добролюбова очень мало, а поговорив с ним раза два, не мог не воскликнуть: „меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями? и какая чертовская память!“...

Повидимому, вся эта история недурно об'ясняется обычною „ложью врагов и клеветой друзей“. Но как бы то ни было, что то личное неприязненное осталось после нее во взаимных отношениях Тургенева и редакции „Современника“.

2) Характеризуя „Современник“ вообще, его главных деятелей в частности, Тургенев особенно щедр на два эпитета—черствый и сухой. Черствым и сухим оказывается Чернышевский, еще более черствым и сухим оказывается Добролюбов. Буквально также, заметим, выражается всегда и г. Григорович, для которого Добролюбов, напр., „даровитый, но сухой и замкнутый молодой человек“. Люди двух поколений очевидно не поняли, да и не могли понять друг друга. Перед нами два совершенно различных нравственных и общественных типа. „Отцы“ могли совершенно расходиться в убеждениях (как напр. Фет и Тургенев),— Тургенев мог даже презирать Фета за его мракобесие и держимордство и вместе с тем быть с ним на дружеской ноге, писать ему дружеские письма. Нравственная ответственность людей сороковых и пятидесятых годов (за самыми ничтожными исключениями) перед мыслью, убеждением была очень слаба. Можно было от души отрицать крепостничество и бить крепостников в действительности. Мостик между словом и делом был настолько хрупкий, что ступить на него всегда было очень опасно. Благородство сосредоточивалось преимущественно в словах, мыслях, чувствах— оно скорее созерцалось, чем проводилось в жизнь, и не нужно особенно углубляться в психологические тонкости, чтобы понять причины этого несообразного явления. Причина та — что никакие поступки в сущности не были возможны, что о самых простых вещах приходилось переговариваться шепотом, что трусость и робость органически прививались к человеку путем розог в школе и дома, запугивания на службе и в жизни. „Трусость — мать всех пороков“, сказал мудрец, и он прав. Увы, гражданское мужество в обстановке 40-ых годов требовало не порядочности, не честности, а редкого, совершенно исключительного героизма, требовать которого мы не в праве ни от кого

Напомню одну характерную и обидную сцену, в которой измельчавшая душа человеческая проявилась полностью. Однажды, когда В. Боткин приехал в Женеву и увидел на пристани Герцена, он до того испугался, что стал наскоро собирать пожитки и чуть не прыгнул в воду. Герцен также заметил своего прежнего друга и, стоя на берегу, проговорил: „Стыдно, В. П.! Стыдно!". Но Боткин все-таки улепетнул.

К счастью, эта отрицательная сторона людей сороковых годов только слегка коснулась Тургенева (как и Некрасова), но не заразила его. Однако все же, что видно из его личных отношений с людьми, он далеко не был ригористом и часто пожимал руку тому, кому пожимать бы ее не следовало. В 60-ые же годы на это смотрели очень строго, ибо на сцену появились партии, которые общего друг с другом не имели ничего.

Тургенев был прежде всего художником, поэтом и менее всего человеком партий, доктрины, политическим деятелем. Это не недостаток, а просто особенность натуры, закрепленная впечатлениями жизни. Сочувствуя прогрессу, он однако мог с отвращением отвернуться от той временной формы, в какую вылилось прогрессивное движение. Относительно искусства он напр. совершенно не мог столковаться с шестидесятниками. Позволю себе напомнить, что я писал по этому поводу в другом месте.

„40-ые годы и красоте поклонялись, и мужику глубоко сострадали. 60-е—прежде всего рабочие годы, и как от таковых смешно и странно требовать, чтобы они являлись перед нами во фраке и белых перчатках, с цитатой из Пушкина или Гюго на устах. Им было не до того, им надо было по красивому и изящно-нарисованному плану выстроить здание, в котором каждому было бы тепло и удобно жить. Естественно, что они пачкались в грязи и мусоре и, отбросивши комфорт и эстетику, изо всех сил принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы к человеку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вместе с вами полюбоваться на голубое небо, на струю светлой лазури и т. д., вам придется услышать вероятно невежливое: „а-ну, тебя!.."

„Присмотритесь к 60-м годам, и перед вами оживет целое поколение, если хотите не совсем уклюжее, не совсем изящное, совершенно несозерцательное поколение, на долю оторого выпала преимущественно черная работа — ликви-

дация крепостного права и крепостных отношений вообще. Ведь и Л. Н. Толстой был тогда мировым посредником и учил ребятишек в яснополянской школе. Другие составляли справочные книжки, энциклопедические словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему железную дорогу, нет дела до того, что ему придется срубить вековой дуб, под тенью которого еще вчера целовались влюбленные“, но для Тургенева эти вековые дубы и ясени, эти густолиственных кленов аллеи были полны значения и смысла поэзии.

Искусство для Тургенева было самостоятельною областью человеческого духа, независимою и ничему не обязанною служить, для шестидесятников искусство было лишь одним из способов воздействия на ум и сердце людей, т. е. рабочею силою, подчиненной интересам общественности. Тургенев был совершенно искренен, когда, сравнивая Белинского и Добролюбова, говорил: „В Белинском был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда. Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному...“ Тургенев и в Белинском ценил прежде всего художника.

Все это подготовило почву для разрыва, и он произошел на самом деле. Как—увидим сейчас.

* * *

„Я брал,—рассказывает Тургенев,—морские ванны в Вентноре, маленьком городке, расположенном на острове Уайте,—дело было в августе месяце 1861 г.,—когда мне пришла в голову первая мысль „Отцов и Детей“, этой повести, по милости которой прекратилось, и кажется навсегда, благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения... В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как-бы желая проверить правдивость собственных ощущений... В течение

нескольких недель я избегал всяких размышлений о затеянной мною работе, однако, вернувшись в Париж, я снова принялся за нее—фабула понемногу сложилась в моей голове; в течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне, в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил, и в феврале 62 г. „Отцы и Дети“ появились в „Русском Вестнике“.

„Не стану распространяться о впечатлении, произведенном этой повестью; скажу только, что, когда я вернулся в Петербург в самый день известных пожаров Апраксинского двора,—слово „нигилист“ было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: „Посмотрите, что *ваши* нигилисты делают: жгут Петербург“. Я испытал тогда впечатления разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях, я получал поздравления, чуть не лобызания от людей противного мне лагеря, чуть не врагов. Меня это конфузило и огорчало: но совесть не упрекала меня; я хорошо знал, что я честно и не только без предупреждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу... Мои критики называли мою повесть памфлетом, упоминали о раздраженном, уязвленном самолюбии; но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым почти не видался, но которого высоко ценил, как человека и талантливого писателя?“

Дело доходило даже до обвинения в пасквилянстве. Но все же в приведенных словах только слабый отзвук того волнения и шума, которые вызваны были появлением „Отцов и Детей“. Можно положительно сказать, что роман был прочитан даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки.

К величайшему сожалению, приходится отметить тот факт, что общество совершенно не поняло романа. Оно толковало его именно в том смысле, что он был „ниспровержением нигилистов“. Вышло недоразумение грандиозное, почти невероятное, не имеющее себе примеров в истории литературы. Посмотрите, как сходятся свидетельства двух лиц, враждебно расположенных друг к другу, — самого Тургенева и Головачевой: Тургенев говорит, что ему приходилось пожимать руки „почти врагов“, Головачева сви

детельствует об отзыве „генералов". Да! вышло что-то непостижимое, лучший роман Тургенева и несомненно самый прогрессивный был забракован прогрессивной русской публикой... Молодежь обиделась до такой степени, что решилась прямо высказать это демонстративно и не прислала Тургеневу обычного почетного билета на концерт в пользу недостаточных студентов.

В недоразумении, произведенном „Отцами и Детьми", повинна, прежде всего, зло и умело написанная статья в „Современнике", под заглавием „Асмодей нашего времени". Статья эта была, если можно так выразиться, пущена по горячим следам романа и, благодаря громадному влиянию журнала, безусловно достигла своей цели. Г. Антонович старался доказать, что таких людей, как Базаров нет и что это не тип, а каррикатура, созданная Тургеневым специально для того, чтобы излить свой гнев на юную Россию и отвращение к ней. Заметно также желание развенчать Тургенева вообще. „Новый роман г. Тургенева — читаем мы — крайне неудовлетворителен в художественном отношении... с первых страниц к величайшему изумлению читающего, им овладевает некоторого рода скука..., когда действие романа развертывается, ваше любопытство не шевелится, ваше чувство остается нетронутым... мы, правда, и не ожидали от г. Тургенева чего-нибудь особенного и необыкновенного" и т. д., и т. д. Об отношении автора к своим героям критик „Современника" говорит: „г. Тургенев питает к ним какую-то *личную* ненависть и неприязнь, как будто они *лично* сделали ему когда-нибудь обиду и пакость, и он старается отмстить им на каждом шагу, как человек лично оскорбленный; он с внутренним удовольствием отыскивает в них слабости и недостатки, о которых и говорит с дурно скрываемым злорадством и только для того, чтобы унизить героя в глазах читателя: посмотрите, дескать, какие негодяи — мои враги и противники". Ясно, куда метит г. Антонович; ему непременно хочется, чтобы читатель видел в романе не художественное произведение, а памфлет против личных каких-то врагов. Дальше идет настоящая травля Базарова и Тургенева: Базаров оказывается скопищем всех семи смертных грехов, плотоугодником чуть ли не дураком, а Тургенев — чем-то в роде Булгарина.

Г. Антонович, не такой человек, чтобы писать по личному раздражению: в романе Тургенева он [illegible]

трел общественное зло. Он хотел не Базарова, а героев „Что делать?“ — Рахметова или таких прекрасных учеников радикального пансиона, как Лопухов или Кирсанов. Базаров же, как мы сейчас его увидим, многими своими чертами напоминает Рудина: он склонен к меланхолии, к созерцанию, у него есть барские замашки: он любит напр. шампанское, а Никитушка Ломов (Рахметов) ест, что придется и обедает куском ветчины с черным хлебом. Г-ну Антоновичу нужен был деятель, а Базаров все-же держится еще в стороне от настоящей общественной работы. Как же смел Тургенев выставить его представителем молодого поколения? Итак, следовало доказатъ, что Базаров — ничтожество и пародия.

Заступаться за Базарова я не буду; если читателю нужна его защита, как человека, пусть он перечтет блестящие статьи Писарева „Базаров“, „Реалисты“: лучшего адвоката, как Писарев, найти нельзя. Но что же такое Базаров в самом деле: герой, вождь, ничтожество?.. Мне кажется, что это натура *двойственная*, что в сущности и вызвало такие недоразумения. Я не вижу причины сомневаться, что сам Тургенев отнесся к нему совершенно искренно и не только не думал унизить его, а напротив идеализировал. „Как—писал он Ф—вой — и вы, вы говорите, что я в Базарове хотел представить карикатуру на молодежь. Вы повторяете этот... извините за бесцеремонность выражения — бессмысленный упрек! Базаров — это мое любимое детище... на которое я потратил все находящиеся в моем распоряжении краски... Базаров этот умница, этот герой, — карикатура!“. То же повторяет он в письме к Салтыкову: „скажите по совести, разве кому-нибудь может быть обидно сравнение его с Базаровым? Не сами ли вы замечаете, что это самая симпатичная из моих фигур... но я готов сознаться, что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя („нигилист“)“.

Но все-же, повторяю, Базаров — натура двойственная. Вам прежде всего бросается в глаза огромный, скептический ум, привыкший скрывать свои сомнения под маской холодной, подчас жестокой иронии. Этих своих сомнений Базарову раскрыть не перед кем, не может он сообщить их ни младенцу Аркадию, ни своим родителям; он только намекает на них в разговорах с Одинцовой. В его характере есть между прочим одна малосимпатичная черта. Он

смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупрезрительные и полупокровительственные отношения к тем, которые его ненавидят, и к тем, которые слушаются. Он никого не любит просто, по-детски, откровенно, он не любит и самого себя, по крайней мере стыдится любви к себе и злится на себя за это.

На всех окружающих он действует прежде всего цельностью и резкой определенностью своего миросозерцания, а между тем разве для него самого все так ясно и просто здесь, на земле? Разве роковая загадка бытия не тревожит его... Тревожит, да еще как... Однажды в разговоре с Аркадием у него случайно вырвался стон: „Я вот лежу здесь под стогом — говорил он... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет, и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже! Что за безобразие! Что за пустяки!“... Согласитесь сами, что перед вами не нигилист, а скептик, мученик своей острой пронизывающей мысли. Базарову не дает покоя сознание собственного ничтожества, как человека. „Мои родители — продолжал он — заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку и *злость*“. Разумеется не Аркадию понять эти мысли, — да и кто вообще из лиц романа поймет их? Все заняты своим делом; одни хозяйничают, другие либеральничают и, распивая шампанское, проводят этим самым в жизнь идею женской эмансипации. Базаров злится за свою полную неприспособленность к обыденному человеческому счастью и завидует даже муравью, потому, что тот не то, что „наш брат самоломанный“... Поэтому-то в Базарове столько тоски, поэтому-то его утрированно-резкие выражения только прикрытие для святая святых, его сердце, куда он, как гордый человек, не позволяет заглянуть никому из непосвященных.

Он циник,—но сколько искусственного, деланного в его цинизме! „В его цинизме — пишет Писарев — две стороны, и внутренняя, и внешняя, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лиризму составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этого цинизма, бес-

причинная и бесцельная резкость в обращении относится к внешнему цинизму". Все это как нельзя более справедливо, особенно если прибавим к этому черту известной душевной надломленности. Базаров в романе Тургенева еще на перепутьи, он еще ищет, борется. Он отдался отрицанию, но еще сам хорошенько не знает, куда оно приведет его. *„В глубине души он признает многое из того, что отрицает на словах, и может быть именно это признаваемое, это затаенное спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества"*. (Писарев).

Оттого-то, как „самоломаный", как человек перепутья, искания,—Базаров жесток и сух, по крайней мере на словах. Рудиным и рудинствующим он угрюмо и резко говорит: „Об чем вы ноете, чего просите от жизни? Вам, небось, счастья хочется? Да ведь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы—берите его. Нет сил—молчите, а то и без вас тошно!"

Это резко, грубо, жестоко, но не отвратительно резко и не отталкивающе резко, потому что, читая роман, вы на каждой странице видите, что Базаров страдает, что в нем нет того, на что, вообще говоря, природа не скупится — самодовольства. Он из ищущих и тоскующих, но гордость сатанинская, гордость безмерно самолюбивого человека не позволяет ему дать простора своим слезам, своим жалобам. Как только слезы подступают к его горлу—он убегает, прячется, таится в одиночестве и там продолжает свою каторжную работу—самоломания.

Его несчастие—словом, нигилизм, не столько отсутствие веры, сколько нежелание—упрямое, страстное нежелание верить в то, что дает человеку обыденное счастье и самодовольство. *Этого* он не может. Он слишком уже изломал себя, слишком много ниспроверг всяких завещанных [illegible] кумиров, чтобы опять увлекаться бабушкиными сказками. Но что же делать? Тургеневский Базаров не знает этого, как не знали Рудины, Лаврецкие, Бельтовы, а на [illegible], на „нас [illegible] обмануть" его не поймаешь...

В нем в то же время есть какое-то органическое сознание своей [illegible] перед обществом и отвращение к безобразной [illegible] обстановке, окружающей его. Он нестерпимо [illegible] о нормальной человеческой жизни и вместе с тем [illegible], что делать, и не верит, чтобы можно было что-нибудь сделать. Он — революционер-песси-

цег, если можно так выразиться, измученный своими сомнениями и ухватившийся за лягушку, как утопающий хватается за соломинку. Натура гордая, не признающая никакого самообмана. Базаров—что-то среднее между Рудиным и Нечаевым.

Двойственность этого типа, особенно в обстановке того времени, должна была породить, и действительно породила, массу недоразумений. Ну, спросит ли себя Рахметов: „зачем я живу?" ну, станет ли он тосковать по поводу мировых вопросов, когда у него есть завладевшее всем его сердцем практическое дело? А ведь сила, настоящая, доподлинная сила Базарова проявляется лишь в сцене его смерти. Он умирает героем—этот революционер-пессимист, этот гордый, но надломленный человек, этот неверующий проповедник.

Тургенев по самому существу своего таланта, своих симпатий, не мог дать цельного, определенного типа. Как в области любви он описывает обыкновенно лишь ее ростки, ее зарождение, так и здесь он остановился на периоде *исканий*. Его Базаров недокончен. Это прекрасно понимал Герцен. „Худшая услуга, — читаем мы, — которую Тургенев оказал Базарову, состоит в том, что, не зная, как с ним сладить, он его казнил тифом. Это такая ultima ratio, против которой никто не устоит. Уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил и ценил в физиологии и которая не меняет своих приемов, лягушка ли, или человек, эмбриология или история у нее в переделе. Наука спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким нескрываемым презрением. Наука учит нас смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое *свысока*, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли и ничего не скрывает для кокетства. Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда как врач, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией. Наука —*любовь*, как сказал Спиноза о мысли и ведении".

Отсутствие этой любви, отсутствие *веры* и делали Базарова подозрительным в глазах тех, кто думал, что в России уже создались настоящие, подлинные деятели, герои труда. Оттого-то так и набросились на Тургенева, набросились за то, что героем дня он выставил скептика и отрицателя, пожалуй, даже, человека, слегка [illegible]ствующего в нигилизме своем. Тургенев угадал [illegible]

эпохи такого угадывания и прозрения не требовалось. Отсюда—один из самых грустных эпизодов истории нашей литературы.

Резюме же всей этой истории то, что Тургенев, обиженный, разочарованный, пожалуй даже ошеломленный, уехал за границу и в течение целых шести лет почти не брался за перо. Мы видели, с какой грустью говорит он в своих воспоминаниях об эпизоде с „Отцами и Детьми"; на самом деле эта история оставила в его сердце рану, не зажившую в течение всей жизни.

* * *

В периоде меланхолии и грусти Тургенев написал прелестную небольшую вещицу „Довольно", которой он хотел распроститься с публикой. Мы приведем из нее несколько строк, характеризующих тоску нашего великого романиста.

„Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба — и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, сами собой, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надеяться... Истина — неполная истина — о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, — замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас на „нет". Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться от всего, сказать: довольно!.." „Наша жизнь одна бродячая тень, жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести;—сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла".

„Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись *этим* сознанием, отведав *этой* полыни, никакой уже мед не покажется сладким, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности—даже оно теряет все свое обаяние; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Так поздней осенью, в морозный день, когда все безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса — стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю—тотчас отовсюду

поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга... Солнце скроется — мошки валятся слабым дождем, и конец их мгновенной жизни".

„Но искусство?.. Красота?.. Да, это сильные слова... Но не условность искусства смущает меня—его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах — вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство в данный миг пожалуй сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфоний Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте — и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве, как о подражании природе; но в конце концов природа неотразима: ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек—дитя природы: но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтения: все, что существуетв в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому — она создает, разрушая, и ей все равно: что она создает, что она разрушает, лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих, а потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Аполлона, как и простой голыш, и отдает на с'едение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла"...

Очень вероятно, что и личные сердечные дела Тургенева повинны в интенсивности того же настроения. Едва-ли они шли благополучно, едва-ли приносили какую-нибудь отраду великому писателю. Задавал ли себе читатель когда-нибудь вопрос, почему Тургенев, этот певец любви, всегда описывает любовь меланхолическими красками? почему он не верит, так-таки прямо не верит, что любовь может принести человеку счастье? Полная его биография в будущем раскроет нам эту загадку. Но и мы не совсем минуем ее. Мы посмотрим сейчас на Тургенева, как на певца любви: своими образами он довольно откровенно рассказал нам о тайных муках своего сердца, о своей вечной неудовлетворенности...

Заглавие „Первая любовь" носит лишь один из рассказов Тургенева, но ту же самую первую любовь вы видите во всем, за самыми малыми исключениями, что вышло из-под пера поэта. Девушка или женщина, не любившая еще (напр. „Фауст"), встречают мужчину необыденного, по крайней мере на первый взгляд. Обыденности Тургеневская ге-

роиня боится больше всего, она органически презирает пошлость, ей нужен герой, который повел бы ее на новую дорогу, открыл бы ей, новые стороны жизни, деятельности показал бы ей, что такое она сама. Надо поразить ее воображение благородными ли словами, величием ли возложенного на себя подвига, словом — героическим поступком. И такому человеку она отдаст всю свою душу. Любовь загорается в ней мгновенно, сразу вспыхивает ее сердце, как сухая солома от упавшей на нее искры. Нет ни раздумья, ни колебанья и, уж разумеется, нет и тени какого бы то ни было расчета. Она все предшествующее время жила неясным для нее самой ожиданием его. Он явился наконец — о чем же задумываться? Она оставляет все, она отказывает своему формальному жениху, если он был у нее, разрывает свои связи с семьей, детскими привязанностями и, не спрашивая куда, зачем, хочет идти за ним, лишь бы он вел ее. Она уже не принадлежит себе, как у загипнотизированной, ее воля тонет в воле героя.

Таков первый момент: любовь возникает неожиданно мгновенно; она неотразима, как рок; она наполняет собой все сердце любящей женщины, она сразу изменяет ее, как второе крещение.

Что же такое она, эта таинственная сила? Жажда ли наслаждения, высшее, страстное проявление эгоизма человеческой природы? Тургенев показывает и такую любовь, но в таком случае его героиня сразу меняется и из чистого девственного создания становится плотоядным, хищным существом, готовым, как паук, высосать все соки из своей жертвы. Такова напр. Марья Николаевна в „Вешних водах“. Но эта форма любви не характерна для Тургенева: он с особенным наслаждением описывает другую — более возвышенную, полную самоотвержения и духовности.

„Любовь не только не кладет на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, как это случается в романах и в жизни, но как бы расширяет ее душу, открывает ей новые далекие и светлые перспективы. Любимый человек для нее — не простой будущий муж или любовник, с которым ее ждет упоение личного счастья, — нет, за ним стоит что-то большое и светлое (она хорошенько не знает что), призывающее к деятельности, к жертве, ей так сладко мечтать об этой жертве, хоть-бы пожертвовать пришлось даже жизнью, так хотелось бы на весь мир провозгласить ка-

...ми-то новыми до сих пор нетронутыми еще, но невыра-
...димо звучными струнами души, -прозвенеть, а там, пожа-
...луй, пусть струны и оборвутся от полноты напряжения".

Тургеневские героини влюбляются сразу и любят только
...один раз, и это уже на всю жизнь. Они очевидно из пле-
...мени бедных Аздров, для которых любовь и смерть были
...равнозначащи. С первого раза может даже показаться стран-
...ным, как эта чистая, девственная, высокая любовь ведет к
...гибели и смерти? Но это один из любимейших мотивов Тур-
...геневской музы. Он сравнивает любовь с стихийными и даже
...грозными явлениями природы. Вот напр. ее символ в „Веш-
...них водах":

„Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не
...успела продолжать; нечто необыкновенное произошло в это
...самое мгновение. Внезапно, среди глубокой тишины, при
...совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра,
...что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий
...звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завер-
...телся клубом. Вихорь не холодный, а теплый, почти знойный
...ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенкам,
...по улице, он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина,
...взвил и разметал черные кудри Джеммы. Шум, звон и гро-
...хот длились около минуты... Как стая громадных птиц,
...умчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глу-
...бокая тишина"...

Так зародилась любовь в сердце Джеммы и Санина, так
...прошла она...

Другой одинаково мрачный образ ...возил нас к драме
„Фауста"... „Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась
огромная темносиняя туча; видом своим она представляла
...подобие огнедышащей горы: ее верх широким снопом ра-
...сходился по небу; яркой каймой окружал ее зловещий
багрянец и в одном месте, на самой середине, пробивал
насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раска-
...ленного жерла... Быть грозе"... И была гроза, и погибли в
...ней оба влюбленные...

Кому любовь приносит счастье. Она убила Асю, Веру
в „Фаусте", разбила сердце Наташи в „Рудине", ее непри-
...миримые противоречия заключили Лизу из „Дворянского
Гнезда" в монастырь, измучила Джемму из „Вешних вод"
Таню—из „Дыма", заставила Машу броситься в воду и уто-
...нуть... Любовь Шопенгауэра обманывает, как ловкая ...вод...

ница, любовь у Тургенева мучает, истязует, губит и даже убивает... В одном старом, глупом романсе поется: „Что на свете прежестоко?—Прежестока есть любовь“... Тургенев часто цитирует эти слова и мог бы приводить их еще чаще...

Кто же и что виновато в этом губительном действии любви? Время, обстановка, обстоятельства или что-то другое, более общее, таинственное и, если не бояться слов, пожалуй, мистическое? И то, и другое. Обстоятельства погубили Наташу, Асю и Лизу, но Вера гибнет уже от противоречия между долгом и страстью, Джемма—от роковой, стихийной силы... Припомните „Песнь торжествующей любви“: здесь из области образов мы вступаем уже в область символа: понять его смысл легче, чем передать словами...

Любовь и гибель, любовь и смерть—его неразлучные художественные ассоциации. Проанализируйте „Песнь торжествующей любви“: здесь Тургенев высказался целиком. Фабула проста. Два юноши, Фабий и Муций, мгновенно влюбляются в красавицу Валерию. Валерия симпатизирует им обоим, но не любит ни одного и только по совету тетки выходит замуж за Фабия. Она счастлива в замужестве, привыкла к мужу, верна ему, привязана к детям. Муций, чтобы не мешать ее блаженству, уезжает в Индию, где изучает тайны факиров. Проходит пять лет, он возвращается и, остановившись в доме своего друга Фабия, видит, что не исчезла его старая любовь к Валерии. Не буду передавать чудного описания волшебной игры Муция, это один из перлов мировой художественной литературы. После того, как звуки песни торжествующей любви замолкли, Валерия, как *очарованная*, вышла в сад и отправилась, в *припадке таинственного сна*, навстречу Муцию, который, *также очарованный*, шел к ней. На другой день при новой встрече влюбленных Фабий закалывает Муция, а очнувшаяся Валерия с ужасом вспоминает о *кошмаре*...

Страсть—это кошмар, а любовь—роковая стихийная сила, несчастье, а гибель несет она человеку, в ней самой заложен смертельный яд, и горе испытавшему его действие...

В чем же счастье?..

„Одно убеждение,—говорит Тургенев,—вынес я из опыта последних годов: жизнь—не шутка и не забава, жизнь—даже не наслаждение... жизнь—тяжелый труд... Отречение—отречение постоянно—вот ее тайный смысл, ее разгадка; не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они

возвышены ни были, а исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку.

„Не наложив на себя цепей железных, цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща, а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь... Молодости позволительно так думать, по стыдно тешиться обманом, как суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза“...

Долг выше любви, в нем разгадка жизни, а не в страсти. Долг, как тень умершей матери, встает с распростертыми руками перед Верой, готовой сбросить с себя его железные цепи, он затворяет за Лизой тяжелые монастырские ворота и запрятывает под клобук, вольные мысли, любовные мечтания...

V.

Последние годы.—Мировая слава.

В 1864 г. Виардо со всей семьей решилась оставить Париж, и Тургенев конечно не пожелал расстаться с ними. После прощального представления, которое m-me Виардо дала в Théâtre Lyrique, все они уехали из столицы, чтобы поселиться отныне в Tiergartental'е, близ Баден-Бадена.

Центр избранного баденского кружка составлял дом Виардо. Там, начиная с 1864 г., составлялись по воскресеньям столько раз описанные музыкальные утренние собрания. Самые высокопоставленные лица из посетителей курорта считали за особенную честь быть приглашенными на эти собрания... Семейство Виардо и Тургенев настолько полюбили эту местность, что не покидали ее даже зимою, изредка лишь, и то только в случае крайней необходимости; Ив. Сер. решался на поездку в Россию. Поездку он всякий раз откладывал, насколько возможно, но никакое препятствие не могло помешать ему возвратиться к 18 июля—дню рождения Полины Виардо. С полным довольством, заменившим прежнее его меланхолическое настроение, Тургенев наслаждался жизнью в Баден-Бадене. В 1865 г., решившись до конца дней не расставаться с Баденом, он купил большой участок земли, прилегающий к парку виллы Виардо, и

построил себе большую виллу в виде замка, превратив всю окружающую местность в сад.

„Годы, — проведенные Тургеневым в Бадене, — говорит Пич, были плодотворны".

„Я, находясь тут же, как бы присутствовал при его поэтическом творчестве. Некоторые из его повестей и фантастических произведений, написанных в Бадене, я проследил от первоначального замысла их до окончательной отделки: я видел как они мало-по-малу выделялись из мрака небытия. Его способ концепций был так же своеобразен, как и вся его натура. Он обладал счастливым уделом, выпадающим на долю весьма немногих работать не из-за куска хлеба. Он был по природе ленив: в его крови глубоко жила „обломовщина". Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, независимой от его воли. В течении целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии, неизвестно почему и откуда, и все более осаждали его и заставляли его рисовать — какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов, под влиянием непреодолимой потребности, запирался в своей комнате и, подобно льву в клетке шагал и стонал там. В эти дни, еще за утренним чаем, мы слышали от него трагикомическое восклицание: „ох, сегодня я должен работать!" Раз, усевшись за работу, он даже физически переживал все то, о чем писал. Когда он однажды писал небольшой, безотрадный роман „Несчастная" из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у огня, он был в течение целого дня болен совершенно. „Что с вами, Тургенев? Что случилось?" — „Ах, она должна была отравиться... Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви и, как это принято у нас в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен..."

...„Дом г-жи Виардо в Бадене считался в те годы как бы высшей школой пения, куда являлись юные таланты

из всех стран, чтобы поучиться у знаменитой артистки, у которой уменье преподавать равнялось ее творческому гению. Особенно старалась она доставить молодым женщинам разных национальностей случаи попробовать себя в маленьких легких драматических партиях. Для этого однако нужно было найти оперетки, в которых все роли за исключением одного или двух лиц, могли быть исполнены певицами. С этой целью Тургенев написал три веселых фантастических оперетки, драматизированные сказки, исполненные грациозного юмора и тонкой прелести: „Le dernier des sorciers“ — „L'Ogre“ и „Trop de femmes“. Госпожа Виардо написала к ним музыку и иногда принимала на себя исполнение роли влюбленного принца, писанной для альта; когда случалось, что в числе друзей Виардо не доставало баритона, Тургенев не считал для себя унизительным играть роль старого колдуна, паши или людоеда, которого дразнили и мучили или прелестные эльфы, или слишком многочисленные жены его гарема и, несмотря на его величину и силу, побеждали“.

Здесь, в Баден-Бадене, Тургенев написал и свой „Дым“. Роман этот критика известного лагеря постоянно упрекала за *тенденциозность* и за то, что Тургенев очень нелестно отзывается здесь о своих соотечественниках. На самом деле роман исполнен едкости и горечи по отношению не только к высшим классам России, но и ко всем современным русским стремлениям, попыткам реформ, все равно, как и ко всему специфически „русскому“. Устами Потугина говорит сам Тургенев, говорит резко, иногда жестоко, но всегда в большей или меньшей степени справедливо. „Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой, и чуть что так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой „буки“. Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, мол, что мы образованные люди — дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк! вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены; будем

же верить в армяк!.. Право, если бы я был живописцем, вот бы я какую картину написал: образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: „вылечи, мол, меня, батюшка-мужичек, я пропадаю от болести"; а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: „научи, мол, меня, батюшка-барин, я пропадаю от темноты". Ну, и разумеется оба ни с места"... Что же делать? Для Тургенева только один ответ: „действительно смириться—не на одних словах—да попризанять у старших братьев, что они придумали лучше нас и прежде нас. „Старшие же братья", разумеется,—европейцы.

Не мало времени тратил Тургенев и на свои литературные воспоминания. Он их начал почти в тот день, когда ему исполнилось 50 лет (1868 г.), и закончил довольно быстро. Он как бы хотел подвести итог своей литературной деятельности, так как не рассчитывал уже создать что-нибудь крупное.

„Я очень хорошо понимаю,—писал он Полонскому,—что мое постоянное пребывание за границей вредит моей литературной деятельности, да так вредит, что, пожалуй, и совсем ее уничтожит: *но этого изменить нельзя.* Так как я в течение моей сочинительской карьеры никогда не отправлялся от *идей,* а всегда от *образов* (даже Потугин—„Дым"—имеет в основании известный образ),—то, при более и более оказывающемся недостатке *образов,* музе моей не с чего будет писать свои картины. Тогда я—кисть под замок, и буду смотреть, как другие подвизаются".

Все время франко-прусской кампании Виардо и Тургенев провели в Лондоне, а затем, после коммуны, вернулись в Париж и окончательно поселились в нем. Тургенев жил в доме Виардо на улице Дуэ, занимая весь второй этаж. Несколько лет спустя Тургенев и Виардо купили прелестный парк с виллой „Les frênes", который тянется от края шоссе через склон высот Марли до края леса, где он незаметно поднимается в гору. Там, в недалеком расстоянии от жилища семьи Виардо, Тургенев построил себе дачу вроде коттеджа. В этом удобном помещении, убранном при всей его простоте с большим вкусом, он проводил летние месяцы последних лет жизни, здесь же он захворал разрушительной болезнью—раком спинного мозга.

Среди парижских литераторов Тургенев был своим человеком. Особенно близко сошелся с Проспером Меримэ, а

после его смерти—с Густавом Флобером, знаменитым автором „M-me Бовари“, „Саламбо“, „Сантиментального воспитания“ и т. д. В знак своей дружбы Тургенев перевел на русский язык два небольших произведения Флобера, „Иродиаду“ и „Искушение св. Антония“.

В воспоминаниях Додэ находим любопытную картину времяпрепровождения того кружка, к которому принадлежал Тургенев:

„Это было лет десять, двенадцать тому назад, у Густава Флобера, в улице Мурильо, в небольшой уютной квартире, убранной в алжирском вкусе и выходившей прямо в парк Монсо,—убежище довольства и хорошего тона: густые массы зелени заслоняли окна, словно зеленые шторы.

Мы имели обыкновение встречаться там каждое воскресенье, неизменно все одни и те же. В нашей интимности была некоторая изысканность, двери были закрыты для посторонних докучливых посетителей.

В одно из воскресений, когда я, по обыкновению, зашел к старому учителю, Флобер остановил меня на пороге.

— Вы не знаете Тургенева? И, не дожидаясь ответа, он впихнул меня в маленькую гостиную.

Там на диване лежала, растянувшись, высокая, статная фигура славянского типа с белой бородой; увидев меня, она поднялась во весь рост и вскинула на меня пару огромных удивленных глаз.

Мы французы, живем в странном неведении по части всего, касающегося иностранной литературы. У нас национальный ум так же склонен сидеть дома, как и наше тело: мы питаем отвращение к путешествиям и мало читаем чужеземных произведений.

Но тут случилось, что я знал и хорошо знал Тургенева. Я с глубоким восхищением прочел „Записки охотника“, а эта книга великого романиста, на которую я напал случайно, привела меня к близкому знакомству с другими его сочинениями. Прежде чем встретиться, мы уже были соединены нашей общей любовью к природе в ее великих произведениях и тем обстоятельством, что мы оба ощущали ее одинаковым образом.

Я весело рассказал ему все это и выразил ему мое восхищение с свойственною моей южной натуре пылкостью; я сказал ему, что читал его там, в моих лесах, и впечатления от ландшафта и от чтения до того перемешались, что один

маленький рассказ его так и остался в моей памяти неразлучно с небольшой полянкой розоватого вереска, слегка поблекшего под веянием осени.

Тургенев не мог придти в себя от удивления.

— Правда, вы читали меня?

И он сообщил мне разные подробности о слабом сбыте его книг в Париже, о неизвестности его имени во Франции. Издатель Гетцель издавал его просто из милости. Его популярность не перешла за пределы его отечества. Ему больно, что он остается неизвестным в стране, столь дорогой его сердцу. Он признался в своих разочарованиях, с грустью, но без раздражения, напротив, наши бедствия в 1870 г. еще сильнее привязали его к Франции. На будущее время он не намерен покидать ее".

После этой встречи Додэ виделся с Тургеневым каждое воскресенье на дружеских литературных обедах.

Кроме парижского литературного мира, у Тургенева были близкие связи и с лондонскими писателями. Англичане высоко ценили его талант. Карлейль называл „Муму" лучшим из когда-либо прочитанных им рассказов. Критик Рольстон и поэт Томсон были личными друзьями Тургенева.

В знак особенного уважения англичане преподнесли Тургеневу диплом на звание доктора Оксфордского университета.

Изредка Тургенев наезжал в Россию, между прочим и в Спасское. Из этих поездок он не выносил уже ничего обидного, неприятного. Он постоянно убеждался, что публика не только примирилась с ним, но и ценит его не меньше, чем в 50-е годы. При его болезненной мнительности и неуверенности в себе он нуждался в овациях и проявлениях восторга. Всем этим он мог насладиться вдосталь. В Москве, при одном появлении его в зале заседаний Общества любителей русской словесности, поднялся буквально гром рукоплесканий, неумолкавших несколько минут, так же восторженно принимали его и в Петрограде. При открытии памятника Пушкину он был избран почетным членом Московского университета; повсюду ходили за ним толпы восторженных почитателей, и однажды дело дошло до того, что студенты выпрягли лошадей из его экипажа и повезли на себе. Все эти дипломы, овации, восторги доказывают, что слава Тургенева была всемирной. И это как нельзя более справедливо. Надо посмотреть на бесчисленные издания „Зап. Охотника", вы-

шедшие хотя бы только в Америке, чтобы убедиться в этом. Американцы зачитывались Тургеневым, и его корреспонденты в „Новом Свете“ были бесчисленны“...

Самый торжественный приезд Тургенева в Россию совпадает с историческим днем для русской литературы—открытием памятника Пушкину (июнь 1880). На празднество собрались все видные представители литературы и журналистики, но общее внимание сосредоточивалось на двух героях художественного творчества—Тургеневе и Достоевском. Оба они произнесли свои знаменитые речи.

„В поэзии—сказал в заключении Тургенев—освободительная, ибо возвышающая и нравственная сила. Будем также надеяться, что в недальнем времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя—Пушкин“...

Эти слова и эти пожелания как нельзя лучше могут быть отнесены и к самому Тургеневу.

Литературная деятельность Тургенева за этот последний период его жизни была плодотворна. В 1874 году появился роман „Новь“, в 1877—1880 несколько рассказов, в 1881 г.— „Песнь торжествующей любви“ и „Отчаянный“, в 1882 году „Стихотворения въ прозе“ и „Клара Милич“. в 1883 году накануне смерти Тургенев продиктовал „Пожар на море“.

Многое из перечисленных здесь заслуживает серьезного внимания и не дождалось еще настоящей оценки, как напр.: „Песнь“, „Отчаянный“, „Стихотворения в прозе“. Нельзя сказать того же самого о романе „Нови“, который не удался Тургеневу. По письмам его видно, что главной центральной фигурой должен был выйти Соломин, а между тем на первом плане оказался Нежданов, этот Рудин поэт и мечтатель, неизвестно для чего отправившийся в народ... Совсем другие люди ходили в народ в 70-х годах, и роман Тургенева исторически несправедлив. Нежданов мог бы подойти к обстановке современной интеллигентной колонии, но тогда этих колоний еще не было. Тургенев остался верен себе: центральная мужская фигура его произведения страдает безволием и меланхоличностью... Отодвинутая на второй план личность Соломина гораздо интереснее, но изображение деятелей было не в таланте Тургенева: прямолинейная психология претила ему.

На многих страницах романа заметно старческое утомление. Да, старость надвигалась и давала себя чувствовать

Тургенев видел это и старался отшучиваться. „После сорока лет—пишет онъ, напр., Суворину—жить на свете точно не совсем весело, особенно в течение первых десяти лет... Ну, а потом под влиянием холодка, веющего от могилы, человек успокаивается. Мне даже одна петербургская немка-старуха бывало говаривала: „под старость жисть подобна есть мух: пренеприятный насеком... Надо терпейть!“... Именно, „надо терпейть“...

Но минуты уныния, страха перед могилой находили все чаще.

„Полночь—писал он, напр., в своем дневнике—сижу я опять за своим столом... а у меня на душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой пролетает день пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять валисьв постель... Ни права жить, ни охоты нет: делать больше нечего, нечего... ожидать, нечего даже желать“... Напомню также прелестное стихотворение в прозе „Старик“.

„Настали—пишет Тургенев—темные, тяжелые дни, холод и мрак старости. Все, что ты любил, чему отдавался, безвозвратно гибнет и разрушается. Под гору пошла дорога. Что же делать? Скорбеть, горевать? Ни тебе, ни другим ты этим не поможешь... На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже, но зелень его та же. Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блестнет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской, и силой весны... Но будь осторожен... Не гляди вперед, бедный старик!“

Но—странно—после появления „Нови“ талант Тургенева в „Песни торжествующей любви“, „Отчаянном“ и „Стихотворениях в прозе“ опять расправил свои могучие крылья и в последний уже раз. Этюд „Отчаянный“ был оценен по достоинству лишь Тэном, знаменитым историком, которого он поразил „удивительным изображением русского этнографического типа“. Сколько отчаянных знает хотя-бы только история нашей литературы: Полежаев, Левитов, Решетников, Помяловский, Н. Успенский—все эти таланты рано погибли от водки, к которой их привела „тоска какая-то“, какая-то страсть самоистребления—разве не сродни они тургеневскому „Отчаянному“...

В „Стихотворениях в прозе“ полностью выразилась натура Тургенева, склонная к меланхолии, и здесь же он вер-

нулся к тем чувствам, которые вдохновляли его при создании „Записок Охотника". Я приведу несколько отрывков, не нуждающихся в комментариях.

„Вершина Альп. Цепь крутых уступов. Самая сердцевина гор. Над горами бледнозеленое, светлое, немое небо. Сильный, жестокий мороз; твердый искристый снег; из-под снегу торчат стужовые глыбы обледенелых, обветренных скал. Две громады, два великана вздымаются по обоим сторонам небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорн. И говорит Юнгфрау соседу:—„Что скажешь нового? Тебе виднее.—Что там внизу?" Проходит несколько тысяч лет—одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн: „Сплошные облака застилают землю... Погоди!" Проходят еще тысячелетия—одна минута.—„Ну, а теперь?"—спрашивает Юнгфрау.—„Теперь вижу; там внизу все то же, пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней... Около них все еще копошатся козявки, знаешь,—те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня".—„Люди?"— „Да, люди". Проходят тысячи лет—одна минута. „Ну, а теперь?" спрашивает Юнгфрау... „Около нас вблизи словно прочистилось",—отвечает Финстерааргорн;—ну, а там вдали есть еще пятна и шевелится что-то".—„А теперь?"—спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет—одну минуту.— „Теперь хорошо, отвечает Финстерааргорн,—опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь... Везде наш снег, ровный снег и лед... застыло все. Хорошо теперь, спокойно".- „Хорошо, промолвила Юнгфрау. Однако довольно мы поболтали с тобою, старик. Пора вздремнуть". Пора. Спят громадные горы; спит зеленое, светлое небо над всегда замолкшей землей"...

Присуща была Тургеневу эта глубокая меланхолия, это сознание тленности и суеты всего... Но вот и светлая, яркая точка в „Стихотворениях":

„Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых— я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.— „Возьмем мы Катьку,—говорила баба,—последние наши гроши на нее пойдут,—не на что будет соли купить, похлебку посолить.—А мы ее... и несоленую"—ответил мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика".

Лето 1881 года Тургенев провел у себя в Спасском, где гостило семейство Я. П. Полонского и артистка М. Г. Савина. Здесь он отдохнул и поправился. Ему жилось легко и привольно среди друзей, любивших и почитавших его,—ему приятно было видеть себя окруженным детьми, хотя-бы и чужими. Болезнь угомонилась, забот особенных не было. Он много гулял, охотно разговаривал. Уехал же он осенью за границу, чтобы больше не возвращаться оттуда, хотя и мечталось ему еще раз повидать свою бедную, но дорогую родину.

Он умер 22-го августа 1883 года в Буживале, измученный болезнью, после тяжкой и мучительной агонии, в два часа дня, умер сравнительно рано, всего 65-ти лет от роду. Почти до последней минуты не забывал он интересов излюбленной литературы. Дрожащими руками написал он свое предсмертное письмо к Л. Толстому и исправлял свои сочинения, подготовляя новое издание. Его последние слова были обращены к окружавшему его семейству Виардо: „Ближе, ближе ко мне, и пусть я всех вас чувствую около себя.. Настала минута прощаться... Простите!..“

Весть о кончине Тургенева с быстротой молнии разнеслась повсюду. Русские газеты вышли в траурных рамках, все лучшие органы иностранной печати поместили некрологи великого писателя. А Россия в то же время готовила своему излюбленному поэту неслыханные похороны... 27-го сентября 1883 года гроб с прахом Тургенева прибыл из Парижа на Варшавский вокзал и был встречен массой народа. Более 180-ти депутаций принимали участие в печальной похоронной процессии, над могилой произнесены были бесчисленные речи... Видя такую помпу, простой народ думал, что хоронили большого генерала, и на самом деле на траурной колеснице лежало тело большого генерала русской литературы. Странные, но отрадные мысли должны были придти в голову историка, наблюдавшего торжественное зрелище. Он мог вспомнить при этом, как тело Пушкина, меньше чем за пятьдесят лет до того, в темную осеннюю ночь, в простом гробу, прикрытом войлоком, с жандармом на облучке было тайно вывезено из Петрограда—чтобы публика не проявила своей симпатии умершему поэту; мог припомнить, как на похоронах Гоголя в Москве было запрещено присутствовать оффициальным лицам, и с каким негодованием была отброшена мысль о каких-то там депутациях. Русское

общество молчало, когда умерли Пушкин, Лермонтов, Гоголь... На простых дрогах, чуть не тайком, хоронили Белинского, и несколько человек, сопровождавшие его до Волковa кладбища, робко оглядывались по сторонам и начинали торопливо шагать на перекрестках... „Не увлекаться литераторами и литературой“—гласило одно из ненаписанных правил сурового Николаевского режима. Чиновник министерства народного просвещения, Краевский, тиснувший в своем журнале по поводу смерти Пушкина, что солнце русской земли закатилось, получил строгое внушение от начальства; о гибели Лермонтова газеты и журналы высказались иносказательно; за восторженный некролог о Гоголе Тургенев перенес высылку. Но Тургенева провожали все— молодежь, литераторы, чиновники. Было неловко, имея возможность не присутствовать на его похоронах.

„Хоронили — говорит Н. Михайловский — Тургенева. Это имя знали все и все любили его. Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда великий писатель начинал свою литературную деятельность. Это были незабвенные роковые годы... Как иногда вся жизнь умирающего сосредоточивается в его глазах, так, все, что только заслуживает названия человеческой жизни, сосредоточилось тогда в количественно ничтожной горсти людей мысли. И в числе их был Тургенев. В разные стороны разбрелась потом эта горсточка, и некоторые из ее представителей, дожив до того времени, когда опять стало тяжело на русской земле, играли и играют далеко не ту же роль, какая выпала той горсточке. Кто устал, кто озлобился и даже рассвирепел, кто ударился в мистицизм. Но Тургенев никогда не был Савлом. Его никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей света, — этой когорты шутов, позванивающих бубенчиками дурацкого колпака... Он всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просвещения, с которыми выступил на литературное поприще... Он умер слишком рано: когда в жизни есть такие люди, как Тургенев, совестно и неловко слишком увлекаться мракобесием и юродством.

„Не принимая активного участия в борьбе с свинцовым мраком, стремящимся облечь нашу родину, не занимая определенного места в литературе в этом отношении, Тургенев служил идеалом свободы и просвещения самым, так сказать, фактом своего существования, наличностью своего первосте-

пенного таланта и своей не русской только, а европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатии этой красы и гордости русской литературы и из змеиных и жабьих нор не раз раздавалось за это зловещее шипенье по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что Тургенев был западник (он сам себя так называл), но это не мешало ему быть гордостью русской литературы. И вот почему Тургенев был дорог, хотя-бы даже ничего более не писал. Вот почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вместо того он, по странному русскому выражению, сам приказал нам долго жить".

VI.

Тургенев — как человек и художник.

Я уже не раз говорил, что корни тургеневского вдохновения находятся там — в эпохе крепостных отношений. Из нее, из этой обстановки извлек он свои мастерские художественные образы и руководящие чувства своей жизни. Он стал западником прежде всего из отрицания крепостничества, из ненависти к родному лицемерному рабству, а когда он творил, до-реформенная Россия наполняла его воспоминания, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолию, которую мы все испытываем на кладбище или при виде покойника. На самом деле что-то грустное проникает все произведения Тургенева, какая-то темная тень легла на все, что вышло из под его пера. „Дворянское Гнездо"—вероятно самая грустная повесть новейшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолия — результат сожаления о том, что прошло и прошло невозвратно? После фактов, представленных в биографии, на этот вопрос может быть только один, безусловно отрицательный ответ. Тургенев грустил не как гражданин, а как художник: ведь в той обстановке, какова бы она ни была, прошли его детство и юность: ведь там осталось много хороших воспоминаний сердца, ведь там он нашел материал для своих чудных женских образов—Веры („Фауст"), Лизы („Дворянское Гнездо"), Наташи („Рудин"), идеалиста Пунина, честного и доброго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Өомушки и Өимушки и многих других им

подобных, к которым и мы не можем не отнестись иначе как с глубоким уважением и даже любовью... Безобразны были крепостные отношения, эти писанные и ненаписанные статьи, отдававшие человека в безусловную власть ему подобного,—но не люди, такие же как и мы, иногда лучшие, чем мы. Припомните Пушкинскую няню Арину, дворового из Спасского, восторгавшегося Херрасковым, основательного, умного Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру сурового охотника Ермолая, с его детски-чистым чутким сердцем, а главное припомните тургеневских женщин и девушек, особенно девушек, и поэтическая эмоция коснется и вас. Вы не дадите ей всецело овладеть вами, не станете восторгаться верными холопами и верными рабами, — мрачный образ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же восстанет перед вами и отравит ваше сердце,—вы поймете, что, как ни хороши те исчезнувшие люди, на каждом из них крепостные отношения наложили свою печать, неистребимую и с нашей точки позорную. Верным холопам и рабам вы пожелаете больше чувства собственного достоинства: другим, как Лизе,—большого простора для мысли, для прав своей личности — и все же сердце ваше будет задето. Тем сильнее такие типы должны были задевать сердце художника. Вызывая их, он стоял как бы на кладбище, под холодными плитами которого похоронено столько жестокого, безобразного, столько доброго, честного, высокого, а вместе с ними—его собственное детство, его собственная юность и ее золотые мечты.

К новой, начавшейся после 61-го года жизни, Тургенев мог относиться с симпатией, интересом, но она уже не захватывала так всецело его сердца, как до-реформенная Русь. Он не понимал многого и не мог понять многого. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, к старым дворянским гнездам, к аллеям густолиственных кленов, где полная красоты и печали стояла „она“, вся сотканная из лунных лучей, из чистых влечений детского, искреннего сердца... Лиза или Вера. Действие всех его романов, за исключением „Дыма“ и „Нови“, происходит в эпоху крепостного права, к ней же относятся, почти без исключения, все его рассказы. Верный преданиям юности, он любит прежде всего идеалистов сороковых годов с их благородными порывами, их надломленной волей. Только их, в сущности, он и изображает. Он придал Базарову рудинские черты, он сде-

лал из Нежданова лишнего, хотя и благородного человека.

„Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца“— сказал Гейне, и эту фразу Тургенев с полным правом мог применить к самому себе. Мы знаем, какие могилы были на кладбище его сердца: там покоились Станкевич и Белинский, покоились старые дворянские гнезда. Тургенев видел исчезновение этих гнезд, видел, как вековые дубы срубались на дрова, как заростали сады и парки всякими плевелами, как покрывались плесенью стены старых домов, из окон которых выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Он мог радоваться, видя, как падают и разрушаются стены тюрьм, но какая же радость может быть на могиле своего честного товарища по заключению.... Он творил, когда гулял по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начавшаяся при нем жизнь? Он был связан с нею головой, но не сердцем, он признавал, что она полезна, нужна, хороша— он этим исполнил долг гражданина, но герои „Что делать?“—не его герои. Он несомненно имел в виду идеалистов сороковых годов, когда пытался создать своего Нежданова или писал следующие строки в одном из писем:

„Теперь—говорит он—не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума—ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального, — нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску— нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы — я беру слово „жизненный“—в смысле простоты, беспристрастности... Чувство долга, славное чувство патриотизма в истинном смысле этого слова— вот все, что нужно... Мы вступаем в эпоху *только полезных* людей... и это будут лучшие люди. Их вероятно будет много; красивых, пленительных—очень мало“.

А ему нужны были красивые и пленительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшие красоту, преклонявшиеся перед искусством. В среде „только полезных людей“ Тургенев чувствовал себя не дома.

Это один из источников его меланхолии; другой — наследственность. Он был баричем с головы до ног, баричем старого времени, с привычками широкой жизни, добродушный, недеятельный... „У Ивана Сергеевича, — вспоминает Вогюэ—рука была щедрая и открытая, как и сердце его. Он без разбора жертвовал всем неимущим: достаточно было но-

сить имя русского, чтобы быть принятым в его доме, чтобы найти его кошеле коткрытым и слышать из его уст ласковое слово". В нем не было ни мелочной рассчетливости, ни мелочной зависти, созданных конкурренцией и слишком обострившимися отношениями наших дней. Свободно уступал он первое место Толстому, свободно признавал он юные таланты, напр. Гаршина.

Лучшие черты старого барства несомненно воплотились в его скромной, представительной, внушавшей невольное уважение фигуре.

Ригористом и доктринером он не был и не мог быть по самым условиям своих жизненных впечатлений по устройству своего ума, склонного к скептицизму, по слабости воли наконец. Однажды он так формулировал свое миросозерцание: „Я преимущественно реалист и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии; ко всему сверх'естественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне дорого славянофильство мне чуждо, как и всякая ортодоксия. Больше ничего не имею доложить вам о себе"...

Он был мнителен и склонен к меланхолии. Стоит припомнить, как по-детски боялся он холеры и убегал за тысячи верст при первом же слухе о ее приближении. Он сам признался, что мужество—не его добродетель. В письмах своих он постоянно жалуется на все—на болезни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: „я—человек конченный". Он любил славу, горячо дорожил ею, но никогда не мог поверить в нее вполне. Ему постоянно казалось, что публика его не любит, молодежь презирает, что его повести и рассказы проваливаются с треском. Сколько раз сообщает он о своем непременном желании бросить литературу „и уже навсегда", хотя сам вероятно понимал, что это для него совершенно невозможно, как не пить и не есть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанию, и несомненно что он не сумел перенести его, не сумел встретиться лицом к лицу с бурей и непогодой. Это было в 60-е годы, во время литературной истории с „Отцами и Детьми". Тургенев обиделся, загрустил, не писал несколько лет, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себе приговор, хотя решительно никакой надобности в этом не чувствовалось. Он поступил как избалованный, капризный ребенок,—большой

ребенок, ребенок гигант, но все-же ребенок. Он дал полный простор своей меланхолии, создал свое знаменитое „Довольно!“—эту лучшую по картинности песнь нашей славянской тоски, славянского пессимизма. А ведь недоразумение должно было рассеяться рано или поздно. И это чувствовалось уже в самом начале. Часть молодежи была на стороне Тургенева, Писарев прямо провозгласил Базарова героем. Но, следуя приему всех слабых людей, наш великий писатель, чтобы найти какое-нибудь утешение, вообразил свою неудачу полной и безусловной. Раз все кончено и жалеть больше не о чем.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургенев не был ни общественным, ни политическим деятелем. Это прежде всего поэт, художник, мечтатель, которого неотразимо тянуло к себе творчество. Он любил писать, любил, страстно, хотя принимался за работу с трудом и даже отчаянием. Он весь вылился в своем языке, своем стиле, как Толстой в своем. Его музыкальные фразы, граненые периоды, аристократическая сдержанность выражений, уменье вызывать настроение (по преимуществу меланхолическое) одним построением слов, их созвучием—все это делало из него первоклассного писателя и в то же время позволяет нам заглянуть в его душу.

В другое время и в другой обстановке он непременно увлекся бы в сторону меланхолии, отчаяния, быть может даже мистицизма. Его любимым писателем был Шопенгауэр, сам он всю жизнь не мог отделаться от тоски и грусти. Любовь, красота, искусство—все, чему он служил, во имя чего жил и работал,—все это то и дело представлялось ему ненужным, пустым, тленным. Но он крепко держал себя в руках, и мы знаем—почему.

Мнительный и склонный к меланхолии по наследству с широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургенев, однако, так долго и часто подвергался влиянию европейской дисциплинированной, культурной жизни, что выработал в себе и стойкость, и веротерпимость западного образованного человека. Холопская формула „либо в зубы, либо ручку пожалуйте“, немене холопская привычка падать собственной своей физиономией в грязь, для выражения собственного своего восторга—претили ему до тошноты. Чувство собственного достоинства и чувство меры были для него не пустыми словами и как для художника,

и как для человека. В роли пророка и Мессии, так привлекавшей Гоголя, Достоевского, Толстого, он не выступал никогда и добродушно подсмеивался над пророками и мессиями. Скептик по натуре, проникнутый сознанием бесконечной сложности человеческой жизни, он не мог бы никогда сказать, что „я—истина", а все остальное чепуха. Он ценил в человеке прежде всего его свободу, его критические способности, а не всероссийскую наклонность „идти и бежать" куда прикажете—в исповедальню Достоевского или в интеллигентную колонию, или в нечаевскую пятерку. Всякая ортодоксия была ненавистна ему, и наклонность к ортодоксии он порицал чаще и резче всего—по-моему, слишком даже резко. Припомните его резкие выходки против „идола" Губарева или секты матреновцев, т.-е. последователей взбалмошной бабы Матрены Савишны. Справедливо замечено, что русский человек—сектант по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никак невозможно. Против этого узкого сектантского духа и направлены все резкие выходки Потугина в „Дыме". „Нам во всем и всюду нужен барин,—говорит Потугин,—барином этим бывает большею частию живой суб'ект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет: теперь, напр., мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу—это дело темное, такая уж видно наша натура. Но главное, чтобы у нас был барин. Ну, вот он и есть у нас; это значит наш, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угождение... Новый барин народился—старого долой. То был Яков, а теперь Сидор: в ухо Якову, в ноги Сидору... Кто палку взял, тот и капрал"...

Что в этих словах много верного, это несомненно, только не совсем верно они сказаны. В силу каких резонов записываемся мы в кабалу—знать можно и натура наша тут ни причем. Все-же это искание, это вера какая ни на есть и куда она выше пустопорожней погони за лишним рублем...

Но это между прочим. Европейски дисциплинированной натуре Тургенева претило наше холопство, как претило и наше самодовольство. Он слишком ясно видел и знал превосходство европейской культуры над нашей, чтобы колебаться в выборе пути, по которому следует идти. Надо перенимать, но как? „Кто же вас—спрашивает он—заста-

вляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно; стало быть вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов,—так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу этих местных, климатических и прочих условий... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок переварит ее по своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок... Весь вопрос в том, крепка ли натура? а наша натура—ничего, выдержит; не в таких была переделках. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные, да слабые народы; точно также как восторгаться с пеной у рта тому, что мы—русские, способны одни вздорные люди".

В этом пункте не согласиться с Тургеневым, как кажется, совершенно невозможно. Наша культура все более сближается с западно-европейской, сближается не по дням, а по часам, с каждым новым торговым трактатом, каждой новой переводной статьей, каждой построенной фабрикой, каждым новорожденным пролетарием. Хотим ли мы этого или не хотим—об этом никто не спрашивает нас, да и никто этим не интересуется. Мы так далеко зашли по пути европейского просвещения и европейских экономических отношений, что если бы от Вержболова до Границы, а от Границы вдоль Карпат до устья Дуная воздвигнуть Гималайский хребет, нам все-же бы пришлось идти тою же дорогой, как европейцы. Перенимать—выгоднее, экономнее, благоразумнее, да и безопаснее, чем орать „мы-ста да вы-ста"...

Но спешу оговориться, западнические убеждения нисколько не мешали Тургеневу любить Россию. Вместе с Потугиным он мог бы сказать: „я люблю и ненавижу Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину".

Если бы теперь мне предложили короче определить миросозерцание Тургенева—я бы не употребил ни пошлого слова „либерал", ни неопределенного „западник", а сказал бы, что наш великий писатель был прогрессистом и гуманистом. Человечность—вот что одухотворяет его произведения, вот что составляет их красоту.

Как ум европейски дисциплинированный, Тургенев не мог, разумеется, иметь никакого пункта соприкасательства с нашими доморощенными консерваторами или, как их лучше звать, „охранителями". Наш консерватизм на самом деле вещь странная, в XIX-ом веке почти невероятная. Так

или иначе, в той или другой форме он—мракобесие. Это совсем не то, что представляет из себя, напр., английский консерватизм. Последний эгоистичен, осторожен, но он никогда не ломится в открытую дверь и никогда не стучит лбом в стену. Английские консерваторы, исторически дисциплинированные, проводят в жизнь смелые демократизирующие общество реформы, как Дизраэли в 66 г., как Салисбери в 84 г. Они понижают ценз, увеличивают число голосовщиков на парламентских и муниципальных выборах. Они понимают, что задерживать историю можно, но становиться ей поперек дороги—опасно и не к чему. Русский консерватор—это прежде всего добровольный соглядатай—в худшем случае, мистик—в лучшем. Он знает только одно, что надо поворачивать назад. Он стоит за розги в школе, кнут—в суде, крепостничество—в деревне. Его благополучную голову не смущает даже мысль о том, что поворачивать назад не только глупо, но и невозможно. Но русский консерватор убежден, что нет ничего на свете сильнее розги или оффициальной бумажки.

Тургенев не был и либералом в европейском смысле слова. Западный либерализм живет формулой: „права, свобода, счастье *для собственника*“; Тургенев просто любил права, свободу, счастье, но не делил человечество на чистых и нечистых. Он был гуманистом в широком смысле слова.

Любил ли он мужика, народ? Не столько любил, пожалуй, сколько видел в мужике человека, признавал в нем живую человеческую душу и ценил ее. Он не народник, он не говорит, что надо учиться у мужика, что надо делать так, как мужик хочет; он видит, что мужик грязен, невежествен, голоден, что зверь еще сидит в нем, и желает для него счастья, не особенного какого-нибудь, в роде того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому—а единственно возможного: основанного на знании, достатке, правах.

Как гуманист, Тургенев безусловно искренен. Он гуманист не только по убеждениям, а по природе. Он прежде всего *добр*, как человек, как художник. Не трудно заметить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены им в „Записках Охотника“, к ним он относится с негодованием, но что значат эти два-три типа в громадной галлерее образов, созданных им? В этом смысле Ренан прав, говоря:

„Его миссия была вполне умиротворяющей. Он был как Бог в книге Иова, творящий мир на высях. То, что у других производило разлад, у него становилось основой гармонии. В его широкой груди примирялись противоречия, проклятия и ненависть обезоруживались волшебным обаянием его искусства...

„В этом (гуманизме) близость Тургенева с народной душой, с народной совестью. Заклейменный каторжник, убийца, жестокий истязатель для него прежде всего несчастный, которому следует сострадать. И Тургенев сострадал всем всю жизнь.

„Любовь—писал он—сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь“...

Из всемирно-литературных типов Тургенев выше всего ценил Дон-Кихота. Почему?

„Жить для себя, заботиться о себе—говорит он—Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет, если можно так выразиться, *вне себя*, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам—волшебникам-великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь—самопожертвование (оцените это слово!); он верит, верит крепко и без оглядки... Смиренный сердцем, он духом велик и смел“...

Тургенев и сам хотел порою, чтобы и его захватил и „закрутил порыв веры, любви, самопожертвования и не в творчестве лишь, а в жизни,—но „каждому свое“...

В Тургеневе не было злобы. Он оставался добрым, добродушным, даже когда сердился. Иногда на словах он давал увлечь себя личному раздражению, но это было лишь минутным настроением. Великие слова: „мир между людьми“ и всепрощение были написаны на его знамени, как человека, мыслителя и художника.

КОНЕЦ.

К [illegible]
Помещичья русь
Ревизор (чиновничество)
Тентетников

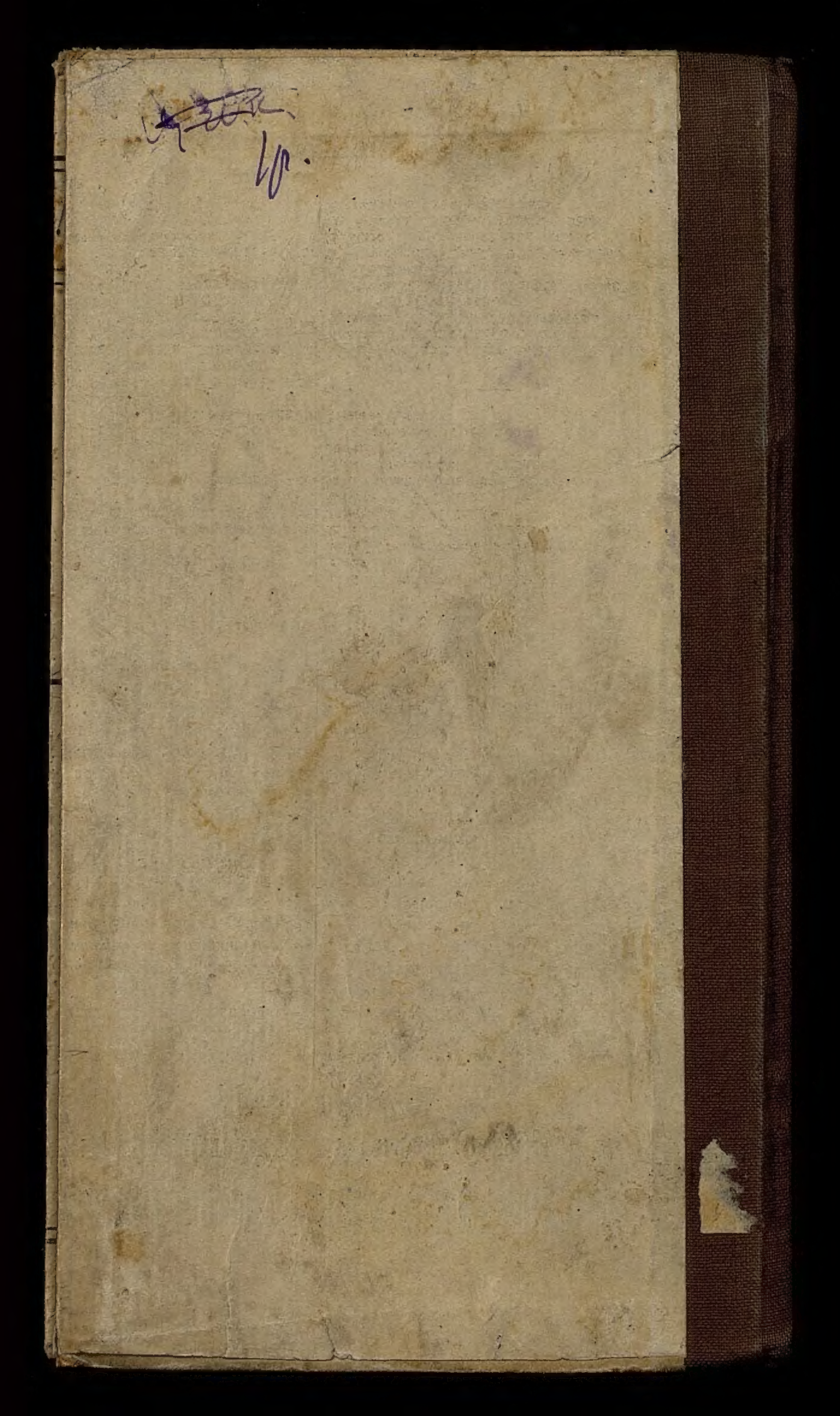
Чичиков

Лирические отступления

К

Отец Тургенева был

8


40.